

ОНЦЕПТОСФЕРА
Зация и актуализация
льный и содержательный
еводческие трансформации
коммуникатор и коммуникант
структурный
литературного произведения
структурная конструкция
словоформа
лексические единицы
стиль
омализация и актуализация
еводческие трансформации
онцептосфера
информационный
картина мира
иностранный
стиль
коммуникация
информационный код
позиция
русский язык
формальный и содержательный
коммуникатор и коммуникант
структурный
литературного произведения
структурная конструкция
словоформа
лексические единицы
стиль
омализация и актуализация
еводческие трансформации
онцептосфера
информационный
картина мира
иностранный
стиль
коммуникация
информационный код
позиция
русский язык
формальный и содержательный
коммуникатор и коммуникант
структурный
литературного произведения
структурная конструкция
словоформа
лексические единицы
стиль
омализация и актуализация
еводческие трансформации
онцептосфера
информационный
картина мира
иностранный
стиль

ROSSICA OLOMUCENSIA – Vol. LIV
Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. Num. 2
Olomouc 2015

Hlavní redaktor – Editor-in-Chief – Главный редактор: prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

Výkonný redaktor – Editor – Редактор-исполнитель:
Mgr. Jindřiška Kapitánová, Ph.D., doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.

Redakční rada – Editorial Board – Редакционный совет:

prof. PhDr. Helena Flídrová, CSc. (Olomouc)
prof. dr. Ulrike Jekutsch (Greifswald)
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (Bratislava)
проф. Валерий Михайлович Мокненко, д.ф.н. (Санкт Петербург)
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. (Olomouc)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Brno)
prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. (Nitra)
prof. PhDr. Zdeňka Trösterová, CSc. (Ústí nad Labem)
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (Olomouc)
проф. Алла Владимировна Злочевская, д.ф.н. (Москва)

Redakční kolegium – Editorial Advisory Board – Редакционная коллегия:

prof. Alla Arkhanhelska, CSc. (Olomouc)	Mgr. Jindřiška Kapitánová, Ph.D. (Olomouc)
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (Brno)	д-р Екатерина Солнцева-Накова (София)
PhDr. Jan Gregor, Ph.D. (České Budějovice)	prof. Ludmila Stěpanova, CSc. (Olomouc)
prof. UŚ dr hab. Andrzej Charciarek (Katowice)	PhDr. Ladislav Vobořil, Ph.D. (Olomouc)
doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D. (Olomouc)	PhDr. Marta Vágnerová, Ph.D. (České Budějovice)

Adresa redakce – Contact Address – Адрес редакции:

Rossica Olomucensia, Katedra slavistiky, Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, CZ-771 80 Olomouc
jindriska.kapitanova@upol.cz, jitka.komendova@upol.cz

Rossica Olomucensia – Časopis pro ruskou a slovanskou filologii navazuje na ročenku *Rossica Olomucensia* vydávanou v letech 1968–2007. Od r. 2008 jsou pod hlavičkou *Rossica Olomucensia* vydávány dvě řady: 1) **Časopis pro ruskou a slovanskou filologii** (dvakrát ročně) s uvedením ročníku a čísla (např. Vol. XLVII a Num. 1, 2) a 2) **Sborník příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké dny rusistů** s uvedením ročníku. Obě řady jsou rozlišeny podtitulem. V r. 2009 byla *Rossica Olomucensia – Časopis pro ruskou a slovanskou filologii* zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Elektronická verze časopisu je umístěna na stránce: http://www.rusistika.upol.cz/veda_a_vyzkum/rossica_olomucensia.html

Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47
www.upol.cz/vup

Odpovědný redaktor: Mgr. Jana Kreiselová

Technická redakce: doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.

Návrh obálky: Ivana Perůtková

Vychází dvakrát ročně (červen a prosinec)

Náklad: 70 výtisků

ISSN 0139-9268 (print)

ISSN 1804-1434 (online)

Reg. č. MK ČR E 18418

ROSSICA OLOMUCENSIA

2

Num.

Vol. LIV

Olomouc 2015

ČASOPIS PRO RUSKOU A SLOVANSKOU FILOLOGII

Zpracování a vydání publikace bylo umožněno díky finanční podpoře udělené roku 2015 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Institucionálního rozvojového plánu, programu V. Excelence ve vzdělávání, Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci: Podpora časopisů vydávaných na FF UP.

Adresa, na níž je možno časopis objednat:

Prodejna VUP

Biskupské náměstí 1

771 11 Olomouc

e-mail: prodejna.vup@upol.cz

e-shop: <http://www.e-vup.upol.cz/>

ROSSICA OLOMUCENSIA – Vol. LIV
Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. Num. 2
Olomouc 2015

STUDIE – ARTICLES – СТАТТІ

Николай Федорович Алефиренко: Фразеопорождающий концепт: Природа, сущность, механизмы вербализации.....	5
Олег Володимирович Деменчук: Перцептивні посесиви антропосемічного поля в українській, польській та англійській мовах	21
Людмила Икитян: Художественная провокация автора и героя: к вопросу о межтекстовых связях в творчестве Леонида Андреева («Мысль» и «Мои записки»)	35
Вероника Викторовна Катермина: Этическая оценка в номинациях человека ...	55
Оксана Миколаївна Назаренко: Комунікативно-прагматичний аспект тексту політичної реклами	73

RECENZE – REWIEWS - РЕЦЕНЗИИ

М. А. Кронгауз: Самоучитель олбанского (Мария Доброва).....	87
И. В. Калита: Стилистические трансформации русских субстандартов, или книга о сленге (Роман Трифонов, Юлия Любавская)	92
L. Vobořil: Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele (výklad a cvičení), 1.–2. díl (Eva Vysloužilová).....	95

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ АЛЕФИРЕНКО

Россия, Белгород

ФРАЗЕМОПОРОЖДАЮЩИЙ КОНЦЕПТ: ПРИРОДА, СУЩНОСТЬ, МЕХАНИЗМЫ ВЕРБАЛИЗАЦИИ

ABSTRACT:

Phraseo-forming domain: nature, character, mechanisms of verbalization

The author focuses on searching the cognitive substrate of a phraseological unit. In view of the indirectly derivative nature of the phraseological item and its semiotic predestination to be a means of secondary nomination, the article attempts to prove that its cognitive and pragmatic ambivalence is projected by the special domain of discourse and modus type.

KEY WORDS:

Phraseological unit – discursive modus domain – meaning – axiological emotiveness – metaphor – metonymy – symbol.

Введение

Создание теории когнитивной фразеологии следует считать актуальным по нескольким причинам языкового и методологического характера.

Первый фактор обусловлен языковой природой фразеологических единиц: асимметрическим дуализмом фразеологического знака, возникающим в силу алогической и нередко парадоксальной, на первый взгляд, сочетаемости его лексических компонентов. Такая дискурсивно-смысловая дистрибуция не всегда укладывается в прокрустово ложе законов речемышления, находящихся в светлой зоне языкового сознания. Скажем, во внутрифразеологической сочетаемости фраземы *ум за разум заходит у кого* [от чего] тщетно искать привычную ло-

гику в линейном сопряжении лексем с помощью глагольной конструкции *заходить за* – ‘двигаться, огибая какой-либо объект’. Поэтому она практически недоступна языковому сознанию детей. Для них это некая абракадабра, которая лишь с возрастом в процессе обучения и накопления коммуникативного опыта превращается в осмысленный языковой знак, выражающий значение ‘у кого-то временно теряется способность чётко и ясно соображать’. Сформировавшемуся же языковому сознанию здесь открываются ещё и имплицитные дискурсивные значимости. Данная фраза обладает дискурсивно-прагматической амбивалентностью: а) содержит ответ на вопрос, от чего утрачивается способность здраво мыслить (от неразрешимых проблем, запутанных вопросов, дел, обременительных хлопот, горя и суеты; в связи с «форс-мажорными» обстоятельствами); б) является носителем скрытой коннотации – употребляется с явным неодобрением (иногда с иронией); в) обладает интроспективной направленностью: обычно так говорят о **себе** (у кого *ум за разум заходит?* – у меня). Ср.: **У меня совсем ум за разум заходит от бесконечных забот и неприятностей. Часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей...** [Л. Толстой].

Такого рода дискурсивно-прагматическая амбивалентность, как следует предположить, обязана когнитивным и лингвокреативным предпосылкам фраземосемиозиса. Первоначально данное сочетание слов выражало идею о том, что духовное начало подчиняется рационалистическому. Считается, что **ум** дан всем по рождению и может стать основанием для сознательной и разумной жизни. **Разум** – приобретаемая благодаря уму способность логически и творчески мыслить, интеллект, коим одарены, увы, не все люди. О таких говорят: **Умен, да не разумен**. Животные вообще этой способности лишены. Поэтому на слуху: *умная лошадь / собака / кошка*, но заменить определение *умная* на *разумная* нельзя. Невозможна также замена существительного *ум* на *разум* в таких выражениях, как: **Умнице** *объемистый, широкий и глубокий. Незрелый ум. У меня этого и на уме не бывало*. Ср. паремии: **С ума** *спятил, да на разум набрел. Живи своим умком, своим домком. Он себе на уме*. Смысл выражения *ум за разум* разъясняют также синонимы: [*каша в голове*] [*мозговой затор*] [*голова идёт кругом*] [**уму** *непостижимо*]. В известной мере оно сопоставимо с грибоведовским «горе от ума».

Подобным дискурсивно-познавательным спектром обладает большинство фразем: *глубинный* смысловой спектр таких выражений гораздо глубже их *поверхностных* значений, что позволяет выдвинуть

гипотезу о специфике фразеопорождающих когнитивных структур. Очевидно, что они имеют иной речемыслительный формат, который существенно отличается от когнитивного основания смежных языковых единиц. У слова, как известно, таковым выступает *понятие*, а у предложения – *суждение*. Как показывает анализ, когнитивные истоки фразеопорождения подпитываются не только рациональными, но и чувственными, культурными, прагматическими и дискурсивными смысловыми интенциями.

Второй фактор, обуславливающий насущные задачи когнитивной фразеологии – методологический, поскольку пока еще не определены стратегия и тактика лингвокогнитивного исследования фраземики [Алефиренко 2011]. Существующие же схемы явно не укладываются в известные каноны когнитивной лингвистики. В данной статье предпринимается попытка найти пути устранения возникшей научной лакуны.

1. Мыслительный субстрат фразеологической семантики

Известно, что мыслительным субстратом семантики языковых знаков являются различные форматы психического отражения номинируемых реалий. Традиционно таковыми принято считать представления, понятия и пропозиции. Наряду с ними современная лингвокогнитивистика всё чаще обращается к таким нетрадиционным мыслительным структурам, как концепт, фрейм, слот, скрипт, картинка и др. Первый из них, с легкой руки А. П. Бабушкина [Бабушкин 1996], многими авторами воспринимается в качестве родового конструкта, а остальные – его разновидностями. Однако такая классификация концептов послужила стимулом к дальнейшей их дифференциации. Порождаемые ими концепты оказались настолько разноликими, что термин *концепт* стали распространять различными препозитивными определениями *лексический*, *синтаксический* и *фразеологический*. Подобного рода уточнения, хотя и сыграли положительную роль, став трамплином для поиска более совершенных определений, нередко вызывают недоумение, поскольку, указывая на уровневую принадлежность вербализующих его единиц, не отображают когнитивной сущности соответствующих речемыслительных образований. И всё же, несмотря на это, в когнитивной фразеологии получило достаточно широкое распространение терминологизированное сочетание *фразеологический концепт* (Л. Г. Золотых, А. В. Малюгина, Ю. О. Сизова и др.), применяемое при исследовании фразем непредикативного типа. Для выявления речемыслительного потенциала свободных и устойчивых сочетаний пре-

дикативного типа используется понятие «синтаксический концепт» [Попова 2001], [Аглеева 2009]. Это вызвано тем, что такие наименования концептов, указывая на уровневую принадлежность вербализующих его единиц, не связаны с сущностными признаками соответствующих мыслительных структур. Ощущая ущербность данного термина, некоторые исследователи [Золотых 2002: 89] разъясняют, что под ним они понимают концепт особого рода – этнокультурный концепт, порождающий для своей репрезентации знаки косвенно-производной номинации – фраземы. Поэтому, вместо обычно употребляемого термина *фразеологический концепт*, более корректно использовать термин *фраземопорождающий концепт*. В нём заключено изначальное предназначение обозначаемого мыслительного образования – способность к проецированию чувственно-предметного образа на такую косвенно-производную структуру языкового знака, как фразема. Иначе говоря, первоисточником фраземодеривации и мотиватором её употребления в речи выступает концепт (от лат. *conceptum* – ‘зерно; зародыш’), содержащий в эмбриональном виде элементы обыденного опыта, образ, эмотивно-экспрессивную оценку познаваемого и модусные смыслы. Исходя из такой этимологии, В. В. Колесов сравнивает семантику данного термина с ‘ростком первообраза’, квалифицируя её неким ‘перво-смыслом’. Уже в силу его этимологического значения *концепт* никоим образом не может отождествляться ни с *понятием*, ни с *категорией*, обозначающими уже оформившиеся и логикой отфильтрированные объекты мысли, понятия и структурированные смысловые конструкторы [Алефиренко 2010: 5]. Знакопорождающий концепт, хотя и является эффективным источником языкового познания, всё же является потенциальным, ещё неоформленным «прологом», своего рода предшествующим обыденному понятию мыслительным образованием, слабо структурированным *наивным представлением*. И в этом качестве может интерпретироваться как потенциальное понятие, протопонятие, ассоциативно-мыслительный «росток», способный «прорасти и словом, и мыслью, и делом» [Колесов 2002: 19]. На этапе фраземопорождения концепт выступает его основным довербальным стимулом, о чём свидетельствуют исследования современной неофраземики [Степанова 2011]. Наряду с этим концепт выполняет роль когнитивно-прагматической детерминанты, регулирующей употребление фразем в речи. С одной стороны, он, благодаря ассоциативно-образной структуре фразеологического значения, обеспечивает косвенно-производному знаку познавательную активность, а с другой – служит средством

формирования модусного потенциала речемыслительного акта, конструктивным ядром которого выступает фразама.

Объективированный же фраземой концепт, в отличие от отдельного фразеологического значения, – это совокупность всех значений фраземы, целостный смысловой образ, ассоциируемый с данным знакообозначением. К тому же вербализованный фраземой концепт всегда включён в ценностно-смысловой континуум той или иной этнокультуры. При этом меняется векторная сущность его природы: концепт становится тем, в виде чего уже сама культура входит в ментальный мир человека, превращается в некий «сгусток культуры в сознании человека» [Колесов 2002: 43]. Благодаря этим свойствам концепт оказывается достаточно органически связанным с фраземосемиозисом.

Типология концептов по способу их вербализации является весьма условной и не отражает природу самого концепта. Чтобы устранить этот казус, необходимо сосредоточиться на механизмах и когнитивно-прагматических мотивах возникновения концептов разных типов. Таковыми, по нашему мнению, являются (а) **обыденные понятия**, вербализуемые словами, (б) **предикации**, объективируемые синтаксемами, (в) **сентенции**, выражаемые паремиями.

2. Дискурсивно-модусный концепт

Поиск онтологической природы концептов, порождающих фраземы, может исходить из осмысления коммуникативно-прагматического назначения фразем. Их предназначение, как мы уже писали ранее, скорее, не в именовании предмета мысли, а в выражении оценочно-смыслового отношения к нему [Алефиренко 2010: 8]. Поэтому фраземы подбираются говорящими для того, чтобы адекватно выразить в соответствующей дискурсивной ситуации тот оценочно-эмотивный смысл, который проецируют наши речемыслительные интенции.

Итак, «плавильным котлом», в котором отливается концепт (мыслительная конфигурация, порождающая фразему), выступает дискурс, а его содержанием служит оценочно-эмотивная, или модусная, семантика. В результате такой концепт, появившийся в результате дискурсивной деятельности для презентации модусной семантики, нуждается не просто не просто в непрямом, а в косвенном знакообозначении.¹ Назовем такие

¹ В отличие от вторичной номинации для косвенного знакообозначения присуща связанность семантически опорной лексемы. Второй его отличительной особенностью является дискурсивно обусловленный тип номинации. Поскольку дискурс в самом общем его понимании является когнитивно-коммуникативным событием, то данный тип номинации можно назвать событийно-ситуативным. Это означает, что номинатом событийно-ситуативной

продукты дискурсивного сознания дискурсивно-модусными концептами, языковыми вербализаторами которых выступают фраземы.

Остановимся на двух интегрированных определениях фраземопорождающего концепта – **дискурсивном** и **модусном**.

1. Категориальные свойства фраземопорождающего концепта, проецируемые **дискурсивной** составляющей, детерминированы его когнитивно-прагматической синергетикой. Как уже отмечалось нами ранее [Алефиренко 2005: 5], одним из важнейших креативных свойств дискурса является его смыслопорождающая способность. Причём смысловое содержание возникающего концепта неаддитивно семантике репрезентирующих его языковых единиц. Такого рода смыслопорождающая способность фраземопорождающего концепта обуславливается тем, что он, в отличие от концептов первичного семиозиса, сам состоит из элементов ранее объективированных в языке дискурсивных ситуаций. Сложные смысловые конфигурации, нуждающиеся в разнообразных средствах косвенно-производного знакообозначения, зарождаются в глубинных пластах переосмысляемых дискурсивных ситуаций. Именно здесь при наличии соответствующих коммуникативных потребностей обостряются противоречия между структурирующими дискурс факторами, в результате чего высекаются первые искры лингвокреативного стимулирования процессов фразеологического семиозиса. Такого рода противоречия обнаруживаются как между лингвистическими и экстралингвистическими механизмами структурирования дискурса, так и внутри них. К внешнему противодействию относятся причины актуализации языковых или внеязыковых стимулов «жизни» дискурса. Внутренние же противоречия буквально пронизывают языковую семантику, активно участвующую в формировании фразеомобразующего дискурса. Эти противоречия предопределили появление в лингвистике различных семантических теорий – «отражательной», релятивной и формально-логической [Алефиренко 2010: 18–19]. Согласно **первой**, смысловое содержание дискурса обуславливается интеграцией отображенных в сознании предметов номинации в соответствии с задачами коммуникативного акта. **Релятивная** теория сосредотачивает внимание на втором этапе дискурсии – моделировании различных отношений как между вербализованными, так и внеязыковыми предметами мысли. **Формально-логическая** концепция, находясь между хомскианским генеративизмом и теорией речевых ак-

номинации (её объектом) выступает микроситуация – событие или факт, объединяющий ряд дискурсивно значимых элементов.

тов, снабжает и укрепляет мысль о креативных возможностях дискурса идеями субъектно-объектного речепорождения и необходимости учитывать внешние (социокультурные и прагматические) условия общения. Роль и значение каждого из названных аспектов в конституировании дискурса зависит, разумеется, от понимания природы и сущности самого дискурса.

Первый аспект ставит дискурс в подчинение языку, который своей семантикой в таком случае должен определять смысловое содержание дискурса. **Второй** исходит из представлений о дискурсе как сетке коммуникативно-прагматических отношений, а **третий** рассматривает дискурс как смыслопорождающее устройство. Ущербность каждого из этих подходов, вне их взаимосвязи, очевидна, поскольку ни один из них не отвечает синергетической природе дискурса как многоканального речемыслительного образования, погруженного в жизнь. В них наблюдается недопустимая абсолютизация одного из ингредиентов дискурса: либо высказывания (текста), либо его внешней и внутренней дистрибуции. В первом случае основой дискурса считается высказывание, а его внешний контекст – сопровождающим фоном. Во втором случае все наоборот. На самом же деле, и семантика высказывания, и социокультурные условия текстообразования, и антропологический (человеческий) фактор – обязательные компоненты того смыслового содержания дискурса, в недрах которого не только функционирует, но и порождается фразема. Об антропологическом факторе безотносительно к фразеологии в своё время писал Ю. Н. Караулов. Все многообразие взаимодействия человека с миром дискурса достаточно емко отражено в его известном суждении: «За каждым текстом стоит языковая личность, владеющая системой языка» [Караулов 2004: 27]. Не менее выразительно и справедливо звучит его перифразирование К. Ф. Седовым: «за каждой языковой личностью стоит множество производимых ею дискурсов» [Седов 2004: 4].

Однако для осмысления роли дискурсивного мышления в образовании фразем важно рассмотреть не столько процесс взаимодействия языковой личности с дискурсами, сколько взаимодействие с дискурсами всего этнокультурного сообщества, которое непосредственно реализуется в речедеятельности каждого человека как члена того или иного этнокультурного сообщества. Вспомним известную фразу из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (Последыш. 3):

Вам на роду написано
Блюсти крестьянство глупое,
А нам работать, слушаться,
Молиться за господ.

Фразема *на роду написано* привязана к известной дискурсивной ситуации, когда пытаются внушить невозможность изменить сложную (нередко роковую) жизненную ситуацию. Особенно спасительной оказывается эта фраза для безынициативных людей, полагающих, что раз на роду написано, то уже ничего изменить нельзя и ничего не остаётся, как плыть по течению, дескать, от судьбы не уйдёшь. Ср.: 1. «Красавина: *Может, ей на роду написано быть за ним замужем. Так разве можно от своей судьбы бежать!*» (А. Островский); 2. *Авось-либо Господь милостив, и счастье на роду ему* (Митрофанушке) *написано* (Фонвизин. Недоросль. 2, 5. Простакова. Ср. Там же. 1, 6). Идиома *на роду написано* могла бы быть вложена в уста любого говорящего по-русски, находящегося под магическим воздействием своего этнодискурсивного сознания, несмотря на то, что содержащееся в её компонентном составе слово *род* может увести современного носителя русского языка от его истинного смысла. Словом *род* в древнерусской языческой мифологии называли бога, творца вселенной, создателя всего видимого и невидимого мира. Идеино представление о Роде приближалось к христианскому представлению о Боге Саваофе – Боге Отце, Создателе всего сущего. Идея Рода была связана со светлым и добрым первоначалом. Со словом *Род* в русском этносознании связано всё самое значительное: Семья, Племя, Династия, Народ, Родина, Природа, Рождение, Урожай. К Роду у русских были особые чувства. Считая себя наследниками главного Бога, они олицетворяли в нем свой род, его единство и неразрывную преемственность [Святая Русь 2000].

В русской лингвокультуре прослеживаются две линии смыслового развития лексемы *род*. Первая восходит к индоевропейскому корню, другая – к греческому. В процессе перевода греческих текстов слово *род* приобрело многозначность. Греческому слову *γένος* – «род, происхождение», «рождение», «родина», «возраст» – в древнерусском языке соответствовали лексемы *племя*, *колени* и *род*. В современном русском языке значение лексемы *род* практически утратило семы 'рождение', 'народ', 'пол', 'сущность', 'естество', 'родина', 'земляк', 'урожай', 'судьба' и др. Некоторые из них в редуцированном, разумеется, виде сохранились только в семантике фразем *на роду написано* и *ни роду ни племени*. Однако несохранившиеся семы служат ключом к пониманию когнитивного стимула к фраземопорождению. Он, как мы уже пытались показать [Алефиренко 2011], – в жизненно значимом и поэтому глубоко **переживаемом коммуникативном событии**. Оно лежит и в основе возникновения фраземы *на роду написано*. У древних славян было поверье, что первой посещающей появившегося на свет ма-

ленького человека была *Роженица* – некое мифическое существо, в чьи «обязанности» входило: (а) прочесть на челе младенца его судьбу и (б) записать её на специальную дощечку, которая называлась нитью судьбы. Считалось также, что Роженица, глядя на это пророчество судьбы младенца, запрашивала у Бога подходящего этому младенцу ангела-хранителя. О том, насколько сильной была магия такого дискурсивного события, свидетельствует сохранившееся в мифах древнее представление, согласно которому жизнь и судьба человека связаны таинственной нитью. Находилась она в руках трёх богинь. В Риме их называли парками, в Греции – мойрами. Клото, первая из них, пряла нить жизни. Вторая, Лахесис, записывала в специальные книги всё, что должно случиться с человеком в его жизни. Третья, Антропос, ждала момента, когда нить жизни надо будет перерезать. Фразема *на роду написано* в неявной форме хранит историческую память о той записи, которую делает богиня Лахесис, для каждого человека. Кстати, с третьей легендарной богиней связана фразема *оборвалась нить жизни*.

Прагматические смыслы – в архитектонике фраземы, которая звучит, мягко говоря, как приговор, как некая фатальность. Неужели за нас давным-давно уже всё решено? Можно ли изменить сценарий жизни, который, как насаждается нам мифологемой, был уже написан за много веков до нашего рождения? Эти и подобные им прагматические смыслы содержит семантика выражения *на роду написано* – ‘*заранее предопределено судьбой*’. Понимание конкретного прагматического смысла, таким образом, достигается в том случае, если оно: а) соответствует этнокультурным эталонам, б) соотносится с общей для всего общества когнитивной базой и в) подчиняется диктату этнодискурсивного сознания, системе значений и законам дискурсивной стратегии.

Итак, синергетика дискурса, в основе которого лежит фразеопорождающий концепт, образуется несколькими смысловыми энергопотоками: а) речемыслительным, б) этнокультурным и в) модусным.

2. Категориальные свойства фразеопорождающего концепта, продуцируемые его **модусной** составляющей, во многом предопределяют семантику и прагматику репрезентирующей его фраземы. Модус (от лат. *modus* – мера, способ, образ) формируется свойствами фразеологического денотата, присущими ему только в соответствующем дискурсивном контексте. Он обуславливается теми ассоциативно-смысловыми связями, которые, собственно, и формируют вторичную денотативную ситуацию, нуждающуюся в косвенно-производной номинации.

По модусу соответствующего концепта фраземы покрывают, как правило, два семантических поля. *Modus vivendi* служит основанием для обозначения фраземами образа жизни людей, служит условием их взаимопонимания и, наоборот, *modus procedendi* наделяет фраземы обстоятельственным смыслом, в том числе отображающим способ достижения цели. Оба модуса связаны с *образным* воплощением речемыслительных интенций. «Наличие в концепте образного компонента, – пишет З. Д. Попова, – определяется самым нейролингвистическим характером универсального предметного кода: чувственный образ кодирует концепт, формируя единицу универсального предметного кода» [Попова, Стернин 2001: 106].

3. Механизмы формирования фраземопорождающего концепта

Основными механизмами формирования фраземопорождающего концепта выступают когнитивная метафора и когнитивная метонимия, которые служат способами смещения и сгущения смысла главным образом на уровне подсознания.

Когнитивные переносы могут быть как предметными (денотативными), так и абстрактными (сигнификативными). В обоих случаях, идентифицируясь прямым значением, фразеологическое значение содержит все его основные признаки. Когда троп или фигура выполняет характеризующую функцию, замечает Е. В. Шелестюк [Шелестюк 2004], переносное значение замещается либо совмещается с именем признака, ср.: *черный ящик*, *язык без костей*, *белая ворона*, *серая мышь*. Смыслообразующим в таких случаях является характеризующий компонент.

Когнитивная метафора призвана создать в условиях определённой дискурсивной ситуации коммуникативно значимый концепт, наполненный нестандартным, модусным смыслом. Возникающий на основе когнитивной метафоры фраземопорождающий концепт является результатом взаимодействия двух сопологаемых концептуальных сфер – **источника** (знакомый, предметный и конкретный объект) и **цели** (нечто менее конкретное, подлежащее осмыслению и косвенному знакообозначению) [см.: Лакофф 1980]. Суть концептообразующей роли когнитивной метафоры состоит в том, что, с одной стороны, она «ищет» сходство в свойствах сопоставляемых объектов (в противном случае она не может быть понята), а с другой стороны – их дифференциальные признаки. В результате их компаративного наложения происходит формирование гибридного (дискурсивно-модусного) концеп-

та, который частично наследует свойства исходных концептуальных сфер, однако всё же является новым образованием.

Если метафора включает в себя гомогенный элемент, она преобразуется в символ.

Метафора – продукт ассоциативно-символического мышления [Рыжук 2007]. В её основе лежит сравнение. Сравнить человек может неизвестное с известным, и в этом проявляется его **отношение** к объективной реальности. Относя чувственно воспринимаемые признаки к отвлеченным и непосредственно не наблюдаемым объектам, метафора выполняет гносеологическую (когнитивную) функцию.

Анализируя фраземы, возникшие по модели когнитивной метафоры, мы получаем «доступ к “скрытым” или забытым семам, которые актуализирует метафора» [Борискина 2003: 13]. Дело в том, что «процессы человеческого мышления в значительной степени метафоричны. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что понятийная система человека метафорически структурируется и определяется. Метафоры как лингвистические выражения возможны именно потому, что они имеются в концептуальной системе человека» [Лаккофф, Джонсон 1990: 389–390].

Когнитивная метафора – средство восприятия одного объекта через другой, средство отнесения объекта к классу, к которому он не принадлежит, посредством так называемого категориального сдвига. В процессе метафорического фразеомобразования традиционная категориальная сетка, определявшая стандартное видение мира, преобразуется, поскольку возникают новые ассоциативно-смысловые связи и отношения, перекраивающие когнитивное пространство, меняющие устоявшееся представление о том или ином фрагменте окружающего мира [Алефиренко 2002: 51]. В этой связи когнитивная, или концептуальная, метафора выступает одной из форм концептуализации, а метафоризация рассматривается как когнитивный процесс, который выражает и формирует новые понятия и без которого невозможно получение нового знания.

По своему источнику когнитивная метафора отвечает способности человека улавливать и создавать **сходство между разными индивидами и классами** объектов. При наиболее общем подходе метафора рассматривается как **видение одного объекта через другой** и в этом смысле является одним из **способов лингвокреативной репрезентации знания**. Метафора обычно относится не к отдельным изолированным объектам, **а к сложным мыслительным пространствам** (областям чувственного или социального опыта). В про-

цессах познания эти сложные непосредственно **не наблюдаемые** мыслительные пространства соотносятся через метафору с более простыми или с **конкретно наблюдаемыми** мыслительными пространствами. Так, нечто, что не укладывается в общепринятые нормы, лучше характеризуется метафорической фраземой *ни в какие ворота не лезет*, поскольку за ней, кроме словарного значения, тянется целый шлейф образной информации: неодобрение, возмущение, осуждение. В подобных метафорических представлениях происходит перенос концептуализации наблюдаемого пространства (*ворота*) на непосредственно не наблюдаемое (мысли, мнение, поступки), которое в этом процессе концептуализируется (формируется дискурсивно-модусный концепт «возмутительно»), пополняя общую этноконцептосферу. При этом одно и то же мыслительное пространство (сходство, например) может быть представлено посредством одной или нескольких концептуальных метафор. Ср.: *на одну колодку, тютелька в тютельку, ни дать ни взять, одной масти, одним миром мазаны, одного поля ягода, два сапога пара, из одного (и того же) теста, точка в точку*.

Метонимическим механизмом фразеобразования служат экспликации и импликации. Экспликация извлекается с помощью референции и языкового кода (*в здоровом теле – здоровый дух*). С помощью экспликации (а не первоначальной формы выражения) передается импликация – то, что подразумевается. Скрытый смысл фраземы может сильно отличаться от явного («экспликации») и даже противоречить ему (*вертится на языке у кого что – ‘вот-вот должно вспомниться’*). В этой связи особое внимание должно быть сосредоточено к метонимической интерференции в речемыслительных актах и к интерпретации дискурса. В центре внимания находятся метонимические наложения и другие принципы метонимии в языках и дискурсивных контекстах [МРІ 2003]. В рамках метонимической стратегии (основанной на смежности мыслительных структур) намечаются два варианта: феноменологическая и ноуменологическая стратегия метонимического переноса. Первая задает концептуализацию через примеры, образцы или просто через отдельные проявления. Например, любовь можно концептуализировать через примеры влюбленности (*Ромео и Джульетта* – символ прекрасной, но трагической любви) или через различные проявления этого чувства (*любви все возрасты покорны*).

Эмотивно нагруженные метонимии представлены двумя концептуальными типами – инклюзивным и эксклюзивным [Тодоров 1983: 350–354]. Инклюзивные метонимии создаются на основе (а) переноса имени с признака предмета на иной объект («*белая ворона* > чело-

век»); (б) переноса названия наделенной признаком части предмета на целое событие («выбросить белый флаг > капитуляция»). В эксклюзивных метонимиях (их большинство – 60,7%) взаимодействуют образ предмета и каузированное им состояние человека («черный день + переживания человека > ограничение, беда, нужда»). Основанием для взаимодействия понятий в обоих типах метонимий становятся характеристики объектов, выраженные эпитетами (чаще всего модусная и утилитарная оценки).

Заключение

Фразеопорождающий концепт является многоярусным дискурсивно-модусным гештальтом – продуктом лингвокреативного речемышления. Эпицентром смыслового содержания фразеопорождающего концепта является образ этнокультурного характера, а понятийно-денотативный смысл служит его фоном. В нашей концепции такой особый, культурно-прагматический, тип концепта получил название дискурсивно-модусного.

Гештальтно воспринимаемый дискурсивно-модусный концепт напоминает сокращенную форму внутренней речи. В нем сочетается осознаваемая и неосознаваемая информация. Осознавание обеспечивается словесными сигналами, знаками. Неосознаваемые же явления, относящиеся либо к образной, либо к эмоциональной сфере, выражаются в фраземах имплицитно. Иначе говоря, единство осознанного и неосознанного есть единство знаков, образов и эмоций – основополагающих компонентов дискурсивно-модусного концепта. Дискурсивная его составляющая представляет коммуникативно-событийный фрагмент его содержания. Модусные смыслы концепта продуцируют коммуникативно-прагматические коннотации фразеологического значения. Также достаточно информативен и образный компонент дискурсивно-модусного концепта. За ним стоит гештальт – целостное представление денотативной ситуации. Отсюда основной вектор лингвокогнитивного анализа единиц, репрезентирующих дискурсивно-модусный концепт. Он должен быть направлен на выявление всех компонентов его смыслового содержания, проецируемых дискурсом и модусом.

Когнитивные метафора и метонимия, отличаясь механизмом фразеопорождения, обуславливают разные типы фразеологических значений. Метафорический механизм через перенос наименования на предметы другого рода или вида по сходству **второстепенных** (нередко – воображаемых) признаков (цвет, форма, размер, внутренние качества и т.п. – *белая ворона*, например) формирует образную доминанту дис-

курсивно-модусного концепта. Чаще всего – на ассоциации человеческих чувств (зрения, слуха и т.п.) с объектами реального мира. Этот слой проецирует в семантике фраземы два плана (образ и прообраз), усиливает экспрессивно-эмоциональный компонент фразеологического значения. Метонимический механизм (через перенос наименования на предметы другого рода или вида в силу существующей между предметами **реальной** связи: *не по карману* что (кому) – ‘не по средствам’) формирует семантическую структуру фразем за счёт денотативной смежности соотносимых объектов. В целом когнитивные метафора и метонимия представляют собой сопряженные механизмы формирования дискурсивно-модусного концепта – когнитивного субстрата фразеологического значения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- АГЛЕЕВА, З. Р. (2009): Синтаксические концепты в картировании языковой картины мира. In: *Культурно-историческое взаимодействие русского языка и языков народов России*. Элиста, 35–37.
- АЛЕФИРЕНКО, Н. Ф. (2005): Дискурс как смыслопорождающая категория (дискурс и вторичное знакообразование). In: *Язык. Текст. Дискурс*. Межвузовский науч. альманах, 3. Ставрополь, 5–12.
- АЛЕФИРЕНКО, Н. Ф. (2010): Концепт – понятие – категория в свете современной лингвокогнитивистики. In: *Научные ведомости БелГУ*. Серия. Гуманитарные науки. № 18 (89), 7, Белгород, 6–14.
- АЛЕФИРЕНКО, Н. Ф. (2011): *Введение в когнитивную фразеологию*. LAP Lambert Academic Publishing.
- АСКОЛЬДОВ, С. А. (1997): Концепт и слово. In: *Русская словесность*. От теории словесности к структуре текста. Антология. Москва: Academia, 267–279.
- БАБУШКИН, А. П. (1996): *Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка*. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та.
- БОГИН, Г. И. (1994): Интенциональный акт как ситуация появления смыслов. In: *Язык и культура*. Киев, 3–10.
- БОРИСКИНА, О. О. (2000): *Теория языковой категоризации: национальное сознание сквозь призму криптокласса*. Воронеж, 2003.
- ГЛАЗУНОВА, О. И. (2000): *Логика метафорических преобразований*. Санкт-Петербург: Издательство «Питер».
- ЗОЛОТЫХ, Л. Г. (2000): Национальная специфика концептов, вербализуемых фразеологическими единицами. In: *Аксиологическая лингвистика: проблемы изучения культурных концептов и этносознания*. Волгоград: «Колледж», 89–95.
- КАРАУЛОВ, Ю. Н. (2004): *Русский язык и языковая личность*. 4-е изд. Москва: «Наука».
- КОЛЕСОВ, В. В. (2002): *Философия русского слова*. СПб.: ЮНА.
- ЛАКОФФ, Дж. (1995): Когнитивная семантика. In: *Язык и интеллект*. Москва: Прогресс.

- ЛАКОФФ, Дж., ДЖОНСОН, М. (1990): *Метафоры, которыми мы живем* In: *Теория метафоры*. Москва: Прогресс.
- МАЛЮГИНА, А. В. (2007): *Типы фразеологических концептов и способы их контекстной репрезентации*: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Воронеж.
- ПОПОВА, З. Д., СТЕРНИН, И. А. (2001): *Очерки по когнитивной лингвистике*. Воронеж: Истоки.
- РЫЖУК, Н. С. (2007): *Метафора как продукт ассоциативно-символического мышления: лингвокультурологический аспект*. In: *Алломорфные и изоморфные признаки языковых систем в аспекте перевода: межвуз. сб. науч. трудов*. Ставрополь, 182–191.
- Святая Русь. Энциклопедический словарь русской цивилизации*. (2000): Составитель О. А. Платонов. Москва: Православное издательство «Энциклопедия русской цивилизации».
- СЕДОВ, К. Ф. (2004): *Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции*. Москва: Лабиринт.
- СТЕПАНОВ, Ю. С. (1997): *Константы: Словарь русской культуры*. Москва: Школа «Языки русской культуры».
- СТЕПАНОВА, Л. (ред.) (2011): *Словарь новой русской лексики и фразеологии*. Olomouc.
- ТОДОРОВ, Ц. (1983): *Семиотика литературы*. In: *Семиотика*. Москва: Радуга, 350-354.
- ШЕЛЕСТИЮК, Е. В. (2004): *Типичные схемы концептуального перехода в метафоре, метонимии и основанных на них фигурах совмещения*. In: *Ethnohermeneutik und Antropologie / Hrsg. Von E. A. Pimenov, M. V. Pimenova*. Landau: Verlag Empirische Padagogik, Bd. 10. Ss. 102–114.
- MPI (2003): *Metonymy and Pragmatic Inferencing*. Budapest: Klaus-Uwe Panther.

Профиль автора:

Алефиренко Николай Федорович, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Сфера научных интересов: фразеология, лингвокогнитивистика, лингвокультурология, общее языкознание.

Россия

308015 г. Белгород

ул. Победы, 85

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, кафедра филологии

<http://www.bsu.edu.ru>

n-alefirenko@rambler.ru

ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ ДЕМЕНЧУК

Україна, Рівне

ПЕРЦЕПТИВНІ ПОСЕСИВИ АНТРОПОСЕМІЧНОГО ПОЛЯ В УКРАЇНСЬКІЙ, ПОЛЬСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

ABSTRACT:

Perception possessives of anthroposemic field in the Ukrainian, Polish, and English languages

The article focuses on the cognitive and onomasiological peculiarities of perception possessives (bahuvrihi) of the anthroposemic field in the Ukrainian, Polish, and English languages. A lexico-semantic status of perception possessives in the language system is established. A cognitive mechanism of perception compound words and phraseological units forming, as well as the main cognitive models of a nominative representation of perception possessives concepts in the contrasted languages are revealed.

KEY WORDS:

Perception vocabulary – possessive – onomasiological structure – stereotype – cognitive model – derivation – compound word – phraseological unit – nominative – naming – image-schema – idiomatic – semantics – anthroposemic – anthropometricity – zoomorphism – symbol.

Спрямованість сучасних ономаціологічних досліджень у когнітивну парадигму визначається антропоцентричним підходом до аналізу мовних явищ. Об'єктом такого аналізу стають ті елементи «мовної когніції» [Демьянков 1994: 27], які слугують для реалізації певних номінативних стратегій індивіда. З одного боку, такий підхід може бути орієнтований на експлікацію втілених у мовному знаку знань людини, з іншого, – на

тлумачення конкретних характеристик самої людини – її фізичних, інтелектуальних, соціальних та інших якостей.

У першому випадку можна говорити про номінацію, реалізовану в межах так званої «широкої» семантики, яка ставить за мету дослідити загальну концептуалізацію світу мовою (фреймова семантика, прототипна семантика, теорія концептуальної інтеграції тощо) з позиції того, як суспільна свідомість впливає на мову і як мова впливає на мислення окремої людини або суспільну свідомість [Кронгауз 2001: 105]. Інший ракурс визначає номінацію «вузької» семантики, яку можна охарактеризувати як власне антропосемантику, або семантику щодо людини, завданням якої є встановлення особливостей мовного втілення людиною знань про саму себе (позначення частин тіла, предметів одягу, внутрішніх станів тощо).

Лексика для позначення «людських атрибутів» була об'єктом численних досліджень конкретного та загального (зіставно-типологічного) мовознавства, див. [Васильев 1981; Зализняк 1992; Голованова 2005; Богус 2006; Крылова 2010; Государська 2011] та ін. Історико-етимологічний аналіз названих мовних одиниць був зосереджений на питаннях реконструкції певних смислових компонентів міфологічної символіки соматизмів у словах різних індоєвропейських мов [Маковский 1996; Преснякова 2009; Башкатова 2014] та ін. У межах когнітивного підходу робилися спроби встановити концептуальну структуру слів для позначення частин тіла [Василевич 1989; Мыльникова 2009], інтелектуальної діяльності [Ніжегородцева-Кириченко 2000], внутрішнього стану [Зализняк 2006] людини. Основою аналізу об'єктів вторинної номінації були структурно-семантичні та функціональні особливості композитів-бахуврихі [Омельченко 1989], реалізовані в аспекті мікросистеми композит-метафор американського сленгу [Гонта 2000], концептуальної семантики антропосемічних субстантивних композит [Васильєва 2006]; соціодискурсивних особливостей композитних номінацій [Дембовська 2012], а також фразеологічні одиниці для позначення соматичного коду культури, див. [Селіванова 2004; Архипкина 2007; Городецкая 2007; Чумичева 2010; Башкатова 2014] та ін.

Нерозв'язаною залишається проблема номінації мовними знаками складної структури, які входять до фонду словотвірної системи мови, з позицій когнітивної лінгвістики. Актуальність такого аналізу зумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на розгляд особливостей репрезентації знань у мові, зокрема встановлення специфіки механізму номінативного втілення людської когніції в національно-мовній картині світу.

Мета розвідки – встановити когнітивно-ономасіологічні особливості перцептивних посесивів антропосемічного поля в українській, польській та англійській мовах, розкрити лінгвокогнітивний механізм їх творення та визначити основні моделі номінативної репрезентації концептів перцептивних посесивів складної структури у зіставлюваних мовах.

Загальна спрямованість когнітивної лінгвістики на пояснення феномену мови стосовно носія цього феномену – людини – визначає об'єкт нашого дослідження – українські, польські та англійські перцептивні посесиви (бахуврихі) антропосемічного поля. Посесиви – це номінації складної структури (композиції та фразеологічні одиниці), виокремлені на основі інтегральної семи посесивності – «володіння чимось (про людину)». Ця сема фіксує інформацію про одну з основних (біологічних, посесивних і перцептивних) життєвих ситуацій, які складають прототиповий набір базисних видів діяльності індивіда [Кустова 2000: 85].

Зазначимо, що номінативне втілення прототипного набору характеризується низкою особливостей. Номінація відображає позначення людиною реалій, які є не лише складовою частиною самої людини, а й, у певному сенсі, її основним знаряддям пізнання та засобом втілення результатів когнітивної діяльності. Зокрема, існує припущення, що біологічний «інструментарій» індивіда перебуває в певних співвідношеннях з елементами зовнішньої атрибутики людини, здійснюючи в такий спосіб функцію обміну між самою людиною та довкіллям. Біологічні інструменти – своєрідні внутрішні речі, які співвідносяться із зовнішніми речами і є їхнім теоретичним субстратом, програмою, прототипом, і що зовнішні речі або просто речі є природним продовженням біологічних «інструментів» (внутрішніх речей), які виведені вже за межі людського тіла, але здійснюють ті ж функції [Топоров 1995: 12–13].

Реалізація відповідного пізнавального моменту в номінативній діяльності індивіда визначатиме особливості й самої номінації, яка в нашому випадку демонструватиме імпліцитність зв'язку між планом вираження і планом змісту, пор.: *тверда рука* – «хтось має здатність підкоряти своїй волі інших, управляти; наполегливість, владність як риси чийогось характеру» [Словник української мови 1979: 46]; *twarda ręka* – “silne, zdecydowane kierownictwo” [Uniwersalny słownik języka polskiego 2004]; *hardhandedness* – “the ruling with a firm or cruel hand; severe” [Oxford English Dictionary 2009]. Така номінація, на нашу думку, реалізує нові антропосемічні (посесивні) смисли, які узагальнено можна охарактеризувати як додаткові, природжені смисли, що виникають на

основі стереотипу – «фрагмента картини світу, що уособлює результат пізнання дійсності певним угрупованням і представляє його у вигляді схематизованої стандартної ознаки» [Селіванова 2004: 247].

У такому ракурсі деривація осмислюється як результат розширення обсягу стереотипу, що зумовлює зміни в рольовій конфігурації ономасіологічної структури перцептивних посесивів. Зокрема, на основі розширення обсягу стереотипу смисл 'непроникність' перцептива *твердий* – «який затвердів, затужавів» [Словник української мови 1979: 46] виявляє ознаки переходу в сферу інтелектуального, активізуючи додатковий смисл – 'обмеженість (доступу знань)', реалізований у композитній номінації *твердоголовий* – «розм. розумово обмежений, дурний» [там само: 49]. Обсяг стереотипу в цьому випадку можна співвіднести із суперсхемою СКАЛЯРНА ВЛАСТИВІСТЬ, яка об'єднує базові образ-схеми ТВЕРДІСТЬ та РОЗУМОВА ОБМЕЖЕНІСТЬ. Суперсхема – це структура вищого рівня абстракції, яка охоплює базові образ-схеми (image schema та response schema), вирівнюючи їх у межах однієї концептуальної сутності [Grady 2005: 47]. Семантику англійської композити *hard-headed* – “(about) someone who is not influenced by their emotions” [Cambridge International Dictionary of English 1995: 646] визначає стереотип на основі смислового компонента 'неподатливість', пор.: *hard* – “not easy to bend, cut or break” [там само]. На відміну від українського сценарію, розширення обсягу стереотипу здійснюється в напрямку двох сфер: раціонального (практичного), пор.: *She has a very practical and hard-hearted approach to the problem* [там само] або інтелектуального, пор.: *hard-headed* – “shrewd; intelligent or clearheaded and firm; not easily deceived or humbugged”: as, a *hard-headed politician* [The Century Dictionary 1911: 2718], що зумовлює прирощення додаткового смислу 'непіддатливість (стійкість)'. Польська композити *twardogłowy* – “mający twardą głowę, tj. niepodatny na żadną perswazję, nie dający się przekonać” [Słownik języka polskiego 1997] демонструє розширення у сферу психологічного (поведінкового), набуваючи смислу 'непіддатливість (затятість)', пор.: *twardy* – “nie uginający się pod naciskiem” [там само]. Міжмовна енантіосемія (позитивна vs. негативна конотація) англійського та польського перцептивів зумовлена, з одного боку, характером (напрямом) розширення обсягу стереотипу, а з іншого – смисловим тяжінням семантики польської композити *twardogłowy* за значенням “uparty, tępy” [там само] до українського відповідника на основі смислового компонента 'непроникність'.

Характерною особливістю перцептивних посесивів є їх належність до певної маргінальної зони, яка виникає на стику фразеологічного та сло-

вотвірного рівнів мови. За морфологічною структурою це можуть бути складні або складнопохідні слова, у яких можна виокремити ономасіологічні ознаки та форманти попередніх ступенів деривації, пор.: *м'якосердий* – «якому властиве м'якосердя [душевна доброта, чутливість]» [Словник української мови 1973: 838]; *twardogłowy* – “przedstawiciel ortodoksyjnego, niereformowalnego odłamu partii, zwykle komunistycznej, przeciwnego jakimkolwiek zmianom” [Uniwersalny słownik języka polskiego 2004]; *blackhearted* – “having a wicked disposition; malignant” [Webster’s Third New International Dictionary of the English Language 1981: 226]; *hothead* – “someone who does things or reacts to things quickly and without thinking carefully first” [Cambridge International Dictionary of English 1995: 688]; *soft-hearted* – “having a soft or tender heart” [The Century Dictionary 1911: 5749], або двокомпонентні фразеологічні номінації (характерно для польської мови), пор.: *черства душа* – «хтось нечулий, байдужий» [Словник української мови 1980: 313]; *gorąca głowa* – “człowiek porywczy, porędkliwy, pełen zapału, łatwo się entuzjazmujący»” [Słownik frazeologiczny języka polskiego 2007]. За значенням це відтворювані семантично переосмислені (зв’язані) сполучення слів, концептуальна структура яких представлена у вигляді інформаційного «згортка», готового до використання як «текст у тексті» [Телия 1996: 8], пор.: *чорноротий* – «зла, лайлива людина»: *Хай Соломія не думає, що Катря її досі боїться. Не ті тепер часи. О, не ті! То нехай же підожде чорнорота та покажется в своїй хаті* [Словник української мови 1980: 360]; *czarne podniebienie: mieć czarne podniebienie* – “ktoś jest szczególnie zły, groźny, złośliwy”: *Niechętni Kaszubom mawiają, że mają oni czarne podniebienie* [Uniwersalny słownik języka polskiego 2004]; *black-mouth* – “a foul-mouthed person, a slanderer”: *Every black-mouth cast dirt upon Christ’s disciples* [Oxford English Dictionary 2009].

Ми обстоюємо позицію, що для втілення «антропосемічних» («посесивних») властивостей позначуваного вторинне словотворення використовує техніки метонімічного та метафоричного переносів, зосереджуючись на експлікації тих семантичних позицій знака, які представляють характерну прикмету людини, її атрибут. З позицій когнітивної ономасіології така експлікація набуває форми фразеологічного різновиду асоціативно-термінальної мотивації [Селиванова 2000: 175]. У межах цього різновиду зіставлявані перцептивні посесиви розглядаються як одиниці вторинної номінації, ономасіологічна структура яких виявляє зв’язок концепту, значення й форми мовного знака на основі певного мовного стереотипу. Такий стереотип відтворює ментальний образ

предмета на основі як «категоріальних» усталених смислів, так і таких, що «характеризують» [Bartmiński 1998: 108].

Активізація «смислів, що характеризують» в етносвідомості створює підґрунтя для експлікації додаткових смислів, які перебувають із первинними смислами у відношенні комплементарності. Це дає підставу розглядати деякі випадки вторинної номінації як результат стереотипізації (розширення обсягу стереотипу). Останню, на нашу думку, можна вважати одним із когнітивних механізмів, за допомогою якого відбувається декодування антропосемічних номінацій. Зокрема, в ономасіологічній структурі перцептивних посесивів такі смисли експлікуються у вигляді додаткових посесивних компонентів – семантичних позицій знака, які кодують інформацію про атрибут, який становить характерну прикмету людини. Зокрема, розширення стереотипу-уявлення «людина з тверезою головою (розумом)» у ситуації поміркованої (яка базується не на почуттях) поведінки, пор.: *холодний* – «в якому виявляються тверезість, поміркованість» [Словник української мови 1980: 118]; *zimny* – “nieulegający łatwo wzruszeniom, niepowodujący się uczuciem” [Uniwersalny słownik języka polskiego 2004]; *cold* – “feelingless, cold-blooded; void of emotion” [Oxford English Dictionary 2009] до обсягу ‘вияв нестриманості, непоміркованої поведінки’ засвідчує прирощення додаткового посесивного смислу – ‘мати щось не таке, що стереотипно (у стані здорового глузду, «кондиції») має людина’. Фразеологічними корелятами такого розширення слугують номінації *гаряча голова*; *гаряча кров* – «про запальну людину» [Словник української мови 1971: 37]; *gorąca głowa*; *gorący umysł* – “człowiek porywczy, popędliwy, pełen zapału, łatwo się entuzjazmujący”; *gorąca krew* – “o kimś porywczym, zapalczywym, działającym pod wpływem impulsu”; *ktoś w gorącej wodzie kąpany* – “o człowieku niecierpliwym, porywczym, popędliwym, impulsywnym” [Słownik frazeologiczny języka polskiego 2007]; *hot-headed* – “fig. of an unduly excitable nature or temperament; impetuous, headstrong, fiery, rash” [Oxford English Dictionary 2009]. Прирощення такого ж смислу можна спостерігати в номінації *hot-blooded* – “excitable” [The Penguin English Dictionary 2002: 426], у якій, щоправда, висока температура крові пов’язується з виявом підвищеного психоемоційного стану відносно стану емоційного спокою, пор.: *холоднокровний* – «спокійний, урівноважений (про людину)» [Словник української мови 1980: 120]; *zimna krew* – “przytomność umysłu, spokój, opanowanie” [Słownik frazeologiczny języka polskiego 2007]; *cold-blooded* – “emotionless” [The Penguin English Dictionary 2002: 163].

Оснoву номінацій перцептивних, антропосемічних посесивів складної структури в українській, польській та англійській мовах визначають семіотичні принципи.

Принцип АНТРОПОМЕТРИЧНОСТІ (співвідношення невідчужуваних атрибутів людини з певною схемою її поведінки). Невідчужуваний атрибут кваліфікується як ознака, що становить невід'ємну властивість людини. Мовним показником невідчужуваного атрибута є ономасіологічна ознака або ознаки номінацій складної структури *nomina anatomica*.

Для позначення дій і вчинків людини субстантивні та ад'єктивні перцептивні номінації реалізують посесивний смисл 'надмірність', пор.: *loud-mouth* – “someone who speaks too much and too loudly, and who never has anything interesting to say” [Chambers Dictionary of Idioms 2002: 274]. Когнітивний механізм стереотипізації в цьому випадку засвідчує розширення, яке виявляє «неканонічну» схему поведінки людини. Закономірно, що такого типу поведінка кваліфікується негативно, пор.: *Curse on these loud-mouth Hounds!* [Oxford English Dictionary 2009]. Таку саму ситуацію спостерігаємо в українській мові, пор.: *горлодер* – «розм. той, хто дуже кричить»: – *Потім ми сповістили військо, що завтра буде сплачено гроші за минулі роки і походи. Це вмить заспокоїло найзавзятіших горлодерів* [Словник української мови 1971: 133]; в польській мові названу ситуацію реалізує дериват *krzykacz* – “człowiek krzykliwy, mówiący dużo i głośno, niepozwalający innym dojść do głosu” [Uniwersalny słownik języka polskiego 2004].

Варто, однак, зазначити, що розширення через посесивний смисл 'надмірність' може бути реалізоване через позитивний модус оцінки, пор.: *coolheaded* – “(someone) having the ability to stay calm or in control, or to think clearly in difficult situations” [CIDE: 303]. Когнітивний механізм стереотипізації в цьому випадку засвідчує розширення, яке виявляє «піднесення» суспільно заниженого рівня (пор. номінацію *hot-headed*) стану або поведінки людини в певній ситуації, пор.: *You can trust Samantha – she always manages to remain coolheaded in a crisis* [там само: 303]. В українській та польській мовах подібну ситуацію реалізують номінації *холодний розум*, пор.: *Бажання щастя разом з надією на нього геть одлинули од козака, і холодний розум взяв перемогу над пориванням серця* [Корпус текстів української мови 2015], та *zimny rozsądek*, пор.: *Wszystko rozwiązuje zimny rozsądek* [Корпус języka polskiego 2015].

Позначаючи властивості людини, ад'єктивні перцептивні посесиви *холоднокривний* – «позбавлений запалу, пристрасті» [Словник української

мови 1980: 120]; *cold-hearted* – “marked by lack of sympathy or sensitivity” [The Penguin English Dictionary 2002: 163]; *z zimną krwią* – “bez emocji” [Słownik frazeologiczny języka polskiego 2007] демонструють стереотипізацію на основі смислового компонента ‘нестача’. Порівняймо посесив *lily-livered* – “someone who is not courageous” [Chambers Dictionary of Idioms 2002: 233], у якому компонент ‘not courageous’, корелюючи з ознакою білого кольору лілії, вказує на відхилення від стереотипної ознаки кольору печінки з недостатнім вмістом жовчі. Вторинна номінація використовує сценарій поведінки півня під час бою (за народними спостереженнями, півень, у якого «біла», з малим вмістом жовчі, печінка, недостатньо забіякуватий, активний і хоробрий у півнячих боях). В українській та польській мовах ситуація «боягузтво» реалізується за сценарієм вияву зовнішніх перцептивних ознак, пор.: *показувати спину (потиллицю)* – «відступати, тікати, виявляючи своє боягузтво» [Фразеологічний словник української мови 1993: 665]; *pokazać (komuś) plecy* – “odejść, uciec” [Uniwersalny słownik języka polskiego 2004].

Принцип ЗООМОРФІЗМУ (співвідношення атрибутів тварин із людськими якостями). Номінація в цьому випадку реалізується за рахунок субстантивних або ад’єктивних бахуврихі, ономасіологічна структура яких актуалізує мотиватори із концептосфери ТВАРИНА для позначення концепту ЛЮДИНА, як правило, у поєднанні з негативним оцінним модусом, пор.: *жовтодзьобий* – «перен. розм. про молодих людей, неосвічених, без життєвого досвіду» [Словник української мови 1971: 37]; *zółtodziób* – “młody, niedoświadczony chłopiec” [Słownik języka polskiego 1997]. В англійській мові використовується номінація *greenhorn* – [from animal with green or young horns] “an inexperienced or unsophisticated person” [Webster’s Third New International Dictionary of the English Language 1981: 997]. Відповідне запозичення відзначено й у польській мові, пор.: *greenhorn* – “w USA: prostak, frajer, nowicjusz, człowiek świeżo przybyły, nieznający miejscowych warunków” [Uniwersalny słownik języka polskiego 2004].

Зумовленість антропосемічної номінації зооморфними знаками визначає відхилення вектора стереотипізації в бік смислу ‘відмітність’. Сценарій уподібнення людських якостей до тваринних розгортається на фоні співвіднесення людини і тварини як представників суміжних біологічних угруповань. Посесивний смисл у цьому випадку набуває ознак стереотипної ситуації «такий, як у тварини».

Принцип СИМВОЛІЗМУ (співвідношення атрибутів людини з певним аспектом культурно-історичної традиції, який знаходить відображення у формі міфологеми, архетипу, власне символу і т. ін.). Перцептивні по-

сесиви такого типу можна співвіднести зі словами-символами – компонентами фразеологізмів, які «усталено символізують ті або інші явища або поняття й мають у низці одиниць однакове значення» [Гвоздарев 1977: 56]. Об'єктом номінації у цьому випадку слугують якості, невластиві більшості людей. Така винятковість і виокремленість є підґрунтям для певного релігійного, культурного або навіть метафізичного контексту, який і визначає структуру самого символу, позаяк символ – це «канонізована культурно значуща концептуальна структура іншої, ніж первинний зміст реалії чи знака, предметної сфери» [Селіванова 2004: 246].

Використовуючи механізм стереотипізації, символічно зумовлена номінація реалізує посесивний смисл 'винятковість', пор.: *white-headed (boy)*, *white-haired (boy)*, *fair-haired (boy)*, *blue-eyed (boy)* – “highly favored: fortunate” [Webster’s Third New International Dictionary of the English Language 1981]. Світле волосся й блакитні очі передбачають позитивну оцінку та шанобливе ставлення, символізуючи привілейований статус денотата. Компоненти *white*, *fair*, *blue* можуть активізувати в етносвідомості концепти-символи: БІЛИЙ (СВІТЛИЙ) – «любов, непорочність, святість», пор.: давньоанглійське *hwit* «білий» співвідноситься з іє. **kyent* – «святий» [Историко-этимологический словарь современного английского языка 2001]; БЛАКИТНИЙ – «мудрість, лояльність, довіра, бездоганна репутація» [Купер 1995: 356]. В українській та польській мовах значення позитивної оцінки передають номінації *золотий* та *złoty*, пор.: *золота голова* – «про здібну, обдаровану людину» [Словник української мови 1972: 680]; *złotousty* – “odznaczający się wielkim talentem oratorskim” [Uniwersalny słownik języka polskiego 2004]. В українській мові символічне значення може бути також реалізоване через номінацію синього кольору, пор.: *синій птах (синя птиця)* – «символ щастя, ідеалу; те, що втілює для кого-небудь найзаповітніші мрії, прагнення»: *На літературних ловах, в полюванні за синьою птицею істини, перед судом історії і читача, Остап Вишня лишився невмирущим* [Фразеологічний словник української мови 1993: 716]; Порівняймо, однак, польську номінацію *niebieski ptak* – “o człowieku lekkomyślnym, nieodpowiedzialnym, niemającym określonego zajęcia, żyjącym cudzym kosztem; próżniak, darmozjad”: *Skrzyknął spod mokotowskiej knajpy “Puławianka” paru znajomków, autentycznych złodziei, niebieskich ptaków i innych wyrokowców* [Słownik frazeologiczny języka polskiego 2007], в якій стереотипізація реалізується на основі смислового компонента 'нестача'. Колоратив *niebieski* в цьому випадку очевидно активізує в етносвідомості концепт-символ за ознакою «первинна пустота та нескінченний простір» [Купер 1995: 356], позбавлені

будь-якої вартості. З цієї перспективи польська номінація зближується з англійською *blue-sky* – “having little or no value: unsound, unsecured” [Webster’s Third New International Dictionary of the English Language 1981: 242]. Нескінченність простору символізує відсутність певної мети або безповоротність, пор.: *pójść, odejść itp. w siną dal* – “pójść, odejść itp. bez jasno określonego celu, zwykle na zawsze”: *Na miejscu okazało się, że ojciec zgubił obrączki. Babcia miała je jeszcze po pierwszym mężu, który odszedł w siną dal* [Słownik frazeologiczny języka polskiego 2007].

Усі три властивості, представлені в аналізі, відображають певний смисловий аспект номінації – актуалізацію тих посесивних смислів, які стають підґрунтям використання відповідних номінативних засобів і стратегій. Ці засоби можна подати у вигляді когнітивних моделей, які репрезентують наші уявлення про об’єкт номінації на основі когнітивного механізму стереотипізації і зумовлюють певну поведінку мовного знака. У випадку перцептивних номінацій антропосемічного поля – це посесивні когнітивні моделі (ПКМ), які є базовими елементами мовної когніції, що слугують підставою для реалізації посесивних смислів перцептивних бахуврихі як одиниць вторинної номінації.

Мовна репрезентація посесивних смислів в українських, польських та англійських перцептивних посесивах базується на трьох типах ПКМ:

ПКМ I: хтось має щось БІЛЬШЕ або МЕНШЕ від того, що стереотипно має «нормальна» людина. На основі цієї моделі реалізується антропометрична номінація, яка, використовуючи мовні знаки для позначення якостей людини, особливостей її поведінки та психічного стану, експлікує в ономасіологічній структурі композити посесивні смисли – ‘надмірність’ або ‘нестача’. Активізація цих ознак в етносвідомості та формування відповідної структури мовного знака фіксує факт розширення обсягу стереотипу на основі кількісної характеристики об’єкта номінації, пор.: *twardogłowy* vs. *twardogłowy* vs. *soft-headed* (нестача); *gorłodęp* vs. *krzykacz* vs. *loud-mouth* (надмірність).

ПКМ II: хтось має щось НЕ ТАКЕ, що стереотипно має «нормальна» людина. Цей тип моделі характерний для зооморфної номінації, при якій знаки складної структури використовуються для позначення різноманітних характеристик людини, експлікуючи в ономасіологічній структурі перцептива смислову ознаку ‘відмітність’. Домінантний статус такої ознаки визначається фактом розширення обсягу стереотипу на основі якісної характеристики об’єкта номінації, пор.: *жовторотий* vs. *żółtodziób* vs. *greenhorn*.

ПКМ III: хтось має щось TAKE, чого стереотипно не має «нормальна» людина. Використання цього типу моделі характерне для символічно зумовленої номінації. Залучаючи мовні знаки для позначення якостей, не властивих більшості людей, цей тип номінації фіксує в ономасіологічній структурі перцептива посесивний смисл 'винятковість'. Підґрунтям когнітивного процесу стереотипізації в цьому випадку стає символ. Сформований на основі певної міфологеми або архетипу, такий символ репрезентує об'єкт номінації як особливе і надзвичайне явище, пор.: *золота голова vs. zlotousty vs. white-headed*.

Мовну релевантність названих моделей демонструє анафоричний зв'язок, у якому антецедент та анафор реалізують смисли про відношення між певною унормованою (канонізованою) та узгодженою (конвенціоналізованою) мовною спільнотою ситуаціями, пор.: *Хіба нормальним людям впало б отаке в голову: послати сюди жовторотого крикуна на таку відповідальну посаду – завідувача заводських лабораторій?* [Словник української мови 1971: 541]. *Sprawy, o których mówilem, są naprawdę poważne. A ty jesteś żółtodziób!* [Słownik języka polskiego 1997]. *Only a greenhorn would think he could live off the barren land that surrounded them* [Oxford English Dictionary 2009].

Загалом, можна дійти висновку, що номінація перцептивних посесивів антропосемічного поля в українській, польській та англійській мовах здійснюється на основі стереотипізації (розширення обсягу стереотипу) – лінгвокогнітивного механізму, який регулює концептуальне наповнення структури мовного знака залежно від того, яка ознака стереотипу набуває домінуючого статусу в момент номінації. Активізація такої ознаки в етносвідомості створює підґрунтя для експлікації в ономасіологічній структурі перцептивних посесивів додаткових посесивних смислів – семантичних позицій знака, які представляють певний атрибут людини. Реалізацію цих смислів визначають посесивні когнітивні моделі – базисні елементи мовної когніції, які слугують підґрунтям номінативної репрезентації концептів перцептивних посесивів антропосемічного поля в українській, польській та англійській мовах.

Наведена інтерпретація моделей номінативної репрезентації концептів визначає перспективу зіставно-типологічних досліджень перцептивних посесивів антропосемічного поля.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- АРХИПКИНА, Л. В. (2007): *Немецкие фразеологические единицы с компонентами-соматизмами в лингвокогнитивном и культурном аспектах*. Тула: Изд-во ТГУ.
- БАШКАТОВА, Ю. А. (2014): Символические признаки соматических концептов. In: *Сибирский филологический журнал*. Барнаул-Иркутск-Кемерово-Новосибирск-Томск: Изд-во СО РАН, с. 239–246.
- БАШКАТОВА, Ю. А. (2014): Соматический код культуры как предмет сопоставительного исследования. In: *Сибирский филологический журнал*. Барнаул-Иркутск-Кемерово-Новосибирск-Томск: Изд-во СО РАН, с. 220–228.
- БОГУС, З. А. (2006): *Соматизмы в разнотипных языках: семантико-словообразовательный и лингвокультурологический аспекты: на материале русского, адыгейского и английского языков*. Майкоп: Изд-во АГУ.
- ВАСИЛЕВИЧ, А. П. (1989): Концепт телосложения в восприятии наивного носителя языка: часть и целое. In: *Язык и когнитивная деятельность*. Москва: Академия наук СССР, с. 114–125.
- ВАСИЛЬЕВ, Л. М. (1981): *Семантика русского глагола*. Москва: Высшая школа.
- ГВОЗДАРЕВ, Ю. А. (1977): *Основы русского фразеобразования*. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ.
- ГОЛОВАНОВА, Е. Ю. (2005): *Эвфемизация табуированных соматизмов (на материале французского и русского языков)*. Уфа: Изд-во БГУ.
- ГОРОДЕЦКАЯ, И. Е. (2007): *Фразеологизмы-соматизмы в русском и французском языках*. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ.
- ДЕМЬЯНКОВ, В. З. (1994): Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода. In: *Вопросы языкознания*, № 4, с. 17–33.
- Историко-этимологический словарь современного английского языка* (2001): Под ред. М. М. Маковского. Москва: Диалог.
- ЗАЛИЗНЯК, А. А. (1992): *Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния*. München: Otto Sagner.
- ЗАЛИЗНЯК, А. А. (2006): Семантика предикатов внутреннего состояния. In: *Многозначность в языке и способы ее представления*. Москва: Языки славянских культур, с. 418–582.
- КРАСНЫХ, В. В. (2002): *Этнолингвистика и лингвокультурология*. Москва: Гнозис.
- КРОНГАУЗ, М. А. (2001): *Семантика*. Москва: Изд-во РГГУ.
- КРЫЛОВА, О. (2010): Языковая картина мира в наименованиях одежды (на материале севернорусских говоров). In: *Studia Rossica Posnaniensia*, vol. XXXV. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, с. 105–113.
- Корпус текстів української мови*, <http://www.mova.info/corpus.aspx>.
- КУПЕР, ДЖ. (1995): *Энциклопедия символов*. Москва: Ассоциация Духовного единства «Золотой век».
- КУСТОВА, Г. И. (2000): Когнитивные модели в семантической деривации и система производных значений. In: *Вопросы языкознания*, № 4, с. 85–109.
- МАКОВСКИЙ, М. М. (1996): *Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: образ мира и мир образов*. Москва: ВЛАДОС.

- МЫЛЬНИКОВА, Н. В. (2009): *Структура и функционирование концепта «рука» в русском языке*. Самара: Изд-во СГУ.
- НИЖЕГОРОДЦЕВА-КИРИЧЕНКО, Л. О. (2000): *Лексико-семантическое поле «Интеллектуальная деятельность»: опыт концептуального анализа (на материале именных сущностей современной английской речи)*. Київ: Изд-во КДЛУ.
- ОМЕЛЬЧЕНКО, Л. Ф. (1989): *Английская композита: структура и семантика*. Киев: Изд-во КНУ им. Тараса Шевченка.
- ПРЕСНЯКОВА Н. А. Вместилища чувств: соматические метафоры в русском и английском языках. In: *Вестник Новгородского государственного университета*, № 52: Изд-во НГУ, с. 62–64.
- СЕЛИВАНОВА, Е. А. (2000): *Когнитивная ономазиология*. Киев: Изд-во украинского фитосоциологического центра.
- СЕЛИВАНОВА, О. О. (2004): *Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти)*. Київ-Черкаси: Брама.
- Словник української мови (1970-1980)*: За ред. Г. К. Білодіда. Київ: Наукова думка.
- ТЕЛИЯ, В. Н. (1996): *Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты*. Москва: Языки русской культуры.
- ТОПОРОВ, В. Н. (1995): *Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического*. Москва: Прогресс — Культура.
- Фразеологічний словник української мови*: За ред. В. М. Білоноженка. Київ: Наукова думка.
- ЧУМИЧЕВА, Т. С. (2010): *Фразеологизмы с компонентами-соматизмами в национальных вариантах английского языка (на материале британского и американского вариантов)*. Нижний Новгород: Изд-во НГЛУ им. Н. А. Добролюбова.
- BARTMIŃSKI, J. (1998): Czy językowy jest tylko stereotyp formalny? (W odpowiedzi Profesor Swietłanie Tołstojowej). In: *Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne*. Wrocław: Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, s. 105–108.
- The Century Dictionary* (1911): Ed. by LL. D. W. D. Whitney. New York: The Century Co.
- Chambers Dictionary of Idioms* (2002). Київ: Всеуито.
- GRADY, J. E. (2005): Image schemas and perception: Refining a definition. In: *From perception to meaning: Image schemas in cognitive linguistics*. Berlin ; New York: Walter de Gruyter, p. 35–56.
- Korpus języka polskiego* [<http://korpus.pwn.pl/>] (2015). Warszawa.
- Oxford English Dictionary* (2009): Ed. by R.W. Burchfield. Oxford: Oxford Univ. Press.
- The Penguin Dictionary of English Idioms* (1994): Ed. by M. G. Gulland, D. Hinds-Howell. London: Penguin Books.
- The Penguin English Dictionary* (2002): Ed. by R. Allen. London: Penguin Books.
- Słownik frazeologiczny języka polskiego* (2007): Pod redakcją A. Stankiewicza, E. Sobola. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
- Słownik języka polskiego* (1997): Pod redakcją W. Doroszewskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uniwersalny słownik języka polskiego (2004) : Pod redakcją S. Dubisza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Webster's Third New International Dictionary of the English Language (1981): Ed. by Ph. B. Gove. Springfield: Merriam-Webster Inc., Publ.

ПРОФИЛЬ АВТОРА:

Деменчук Олег Владимирович, доктор филологических наук, профессор
Научные интересы: сопоставительное языкознание, лексическая семантика, когнитивная лингвистика, функциональный синтаксис.

Кафедра романо-германской филологии
Ривненского государственного гуманитарного университета
ул. Степана Бандеры, 12
33000 г. Ривне
Украина

<http://www.rshu.edu.ua/>
dema1968@mail.ru

Людмила Икитян

Россия, Армянск

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОВОКАЦИЯ АВТОРА И
ГЕРОЯ: К ВОПРОСУ О МЕЖТЕКСТОВЫХ СВЯЗЯХ
В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА («МЫСЛЬ»
И «МОИ ЗАПИСКИ»)**

ABSTRACT:

The artistic provocation author of hero: the question of intertextual links in the works of Leonid Andreyev (“Thought” and “My notes”)

The article presents new aspects of the intertextual links in L. Andreev’s novels “Thought” and “My notes”. Experimental, analytical and communication modes of creative writer’s thought as well, as the features of figurative and motivic structure of the analyzed works are considered through the prism of a special strategy – an artistic provocation.

KEY WORDS:

Intertextual links – artistic provocation – analytical construction of the text – intellectual experiment – artistic communication – “non-classical” hero behavior – the moral resource of the reader.

Знатокам наследия Леонида Андреева пояснять сопоставление обозначенных в заглавии произведений вряд ли стоит. Их репрезентативность для творчества писателя, с одной стороны, и «соположение» по ряду ключевых поэтологических данных, с другой – факт неоспоримый. Как, впрочем, и ярко выраженный в них «вектор» Достоевского (а именно тема преступления «с подтекстом») и ницшеанский «комплекс» в основе психологии поступка героев. И то и другое весьма важно для установления связи этих произведений Андреева как с тра-

дицией русской классики, так и с литературно-философскими идеями современности, а также для определения особенностей всего творчества писателя в контексте процессов, общих для мирового искусства,¹ и в индивидуально-авторской плоскости. Критиками и исследователями творчества Андреева эти факторы «влияния» осмыслены более чем достаточно, на современном же этапе их очевидность и аксиоматичность «тиражируется» во многом за счёт повторений ранее осмысленного.

В таких реалиях обращение к вопросу общности повестей «Мысль» (1902) и «Мои записки» (1908) может показаться излишним. Однако художественный универсум их создателя, оригинального и, пожалуй, уникального русского писателя начала XX века, содержит прочный запас научно-исследовательской перспективы. Наличествует она, в частности, в тяготении автора к автоинтертекстуальности,² в рамках которой свидетельствовать о новом, соотносимом нами с принципами художественной провокации качестве «претекстовости» и «посттекстовости» анализируемых произведений ново и актуально. Именно в таком подходе, лишь на первый взгляд локальном, на самом же деле дающем проекции на широкие горизонты творческого мышления и индивидуальной психологии автора, заключается ценность данного исследования. Постижение диалектики «родства» и межтекстовых касательств данных повестей через призму поэтики провокации даёт возможность исключить интерпретационные оплошности в исследованиях последнего времени [например, Гусева 2012], множимые именно в силу неверно осмысленных авторских акцентов.

Итак, в андрееведении повесть «Мысль» традиционно признаётся текстом, «прецедентным» для «Моих записок», с той разницей, что в последних преступный индивидуализм героя осмыслен «в иронически парадоксальной форме» (В. Беззубов). Общность разрабатываемых в этих повестях тем, мотивов, формы повествования, художественного и психологического анализа, также совпадение характеров главных ге-

¹ «Мировой масштаб» писателя одним из первых задал А. Л. Григорьев [Григорьев 1972: 190–205]. Продуктивность этой темы подтвердили К. Муратова, Е. Каманина, Р. Спивак, О. Вологина и др., развив в своих исследованиях тезисы Григорьева и изрядно их дополнив. Массу свидетельств о параллелях и «перпендикулярах» писательской мысли с искусством и философией в основном Западной Европы содержат также работы, посвящённые отдельным аспектам художественного мира Андреева.

² Вопросы автоинтертекстуальности творчества писателя неоправданно мало разработаны наукой. Автоинтертекстуальность неоднократно отмечалась И. И. Московкиной. В своей монографии [Московкина 2005] украинский учёный фиксирует этот факт на примере большого количества произведений писателя. Однако развёрнутое исследование андреевского автоинтертекста ещё только предстоит.

роев, их социальной принадлежности и наклонностей к определённо-му типу поведения учёными отслежена и проанализирована довольно подробно. Однако следует признать, что наука, давно конституировавшая взаимосвязь «Мысли» и «Моих записок», всесторонними данными о связующих элементах этих текстов на сегодня не располагает. Ни один из выявленных фактов «преемства» не выявляет в достаточной полноте «критериев» творческой работы писателя по переосмыслению автоматериала. Правда, накопленные исследования о частных сходствах и различиях повестей позволили вписать их в число «корпусных» произведений Андреева о героях, мыслью отягощённых, – «Рассказ о Сергее Петровиче», «Жизнь Василия Фивейского», «Савва», «Анатэма», «Сашка Жегулев», «Дневник Сатаны», – но, повторимся, не исчерпали всей связи текста-«донора» и текста-«реципиента».

Разделяя и аккумулируя наблюдения большинства учёных, мы всё же хотим сконцентрироваться на анализе провокативного принципа авторской логики, на наш взгляд, базового в процессе преобразования фигуры «сверхиндивидуалиста» и психологии поступка, инспирированного особыми мыслепорождающими факторами. При этом обоснование художественной провокации и её ключевых идейно-содержательных направляющих в отдельно взятых нами для анализа текстах нуждается в отслеживании общей динамики мысли мастера, а, значит, требует выхода на широкие пласты писательского универсума. Определяющими и наиболее характерными для Леонида Андреева, по нашему мнению, являются, во-первых, экспериментально-провокативный модус творческого мышления мастера, сообщаемый им своим сочинениям с целью апробировать выдвинутый тезис-идею на жизнеспособность и духовно-этическую ценностность, и, во-вторых, аналитический импульс, который автор «задаёт» произведению с расчётом на читателя вдумчивого и нравственно рефлексивного. К сожалению, эти интеллектуально-творческие пласты, вероятно, в силу своей широты и сложности [Иезуитова 1970: 333], как правило, остаются за рамками концептуального анализа, положенного в основу большинства сопоставлений «Мысли» и «Моих записок». Рассмотрение же внутренних «пружин» художественной провокации как одного из механизмов творческой «переделки» событийной и образной системы «Мысли» и «Моих записок» способно дать «недостающие» концептуальным исследованиям представления о началах и путях развития тех авторских стратегий, что в целом характеризуют искусство Андреева как интеллектуальное, экспериментальное и провокативное.

В эстетикеначалаXX века – эпохипрофанации Абсолюта икардинального смещения аксиологических векторов – универсально-диалектический смысл последних вступал в острейший конфликт с их спекулятивно-умозрительной природой. В общественном сознании того времени живейший отклик стал находить принцип сопряжения идеального мира с миром действительным, где метод «апробации» универсалий утверждался как действенное средство поиска ориентиров в шатком мире. Возможность перепроверки «на практике» стала ключевым требованием к истине и для Андреева; средством же самоопределения человека писателем были обозначены разнообразные формы «неклассического» поведения, в частности, экспериментально-апробативные его траектории. Встраивание этих явлений в канву художественных текстов в качестве формо- и смыслообразующих факторов осуществлялось писателем прежде всего под влиянием литературной традиции,³ но также и в силу личностных предпочтений: в жизни Андреева постановка эксперимента являлась важным подспорьем в практике межличностных отношений. Из материалов, запечатлевших жизнь мастера – дневников, писем, свидетельств современников – реконструируема социокультурная модель поведения Андреева-человека, где для близких и друзей он предстаёт неутомимым устроителем затей-розыгрышей с характером перепроверки-испытания (воспоминания М. Горького, Б. Зайцева, Н. Гариной). Осознание себя «экспериментатором» фиксируется и во многих фактах саморефлексии писателя [Андреев 1994: 63; Кен, Рогов 2010: 239].

Судьбоносным для Андреева-художника становится намерение проторить в литературе особый путь с целью разрушить «сплошной бессмысленный самообман» [Кен, Рогов 2010: 23], коим представляется ему жизнь человека. Чтобы вскрыть «несостоятельность тех фикций, которыми человечество до сих пор поддерживало себя» [Кен, Рогов 2010: 23], Андрееву требовалась особая творческая стратегия для выражения взгляда скептика, которого не пугает перспектива сделать достойным смеха всё то, что есть у людей: «Мне хочется потешиться над человечеством, хочется вволю посмеяться над его глупостью, эгоизмом, над его легковерием» [Кен, Рогов 2010: 23]. Ещё 20-летним неискушённым в писательстве юношей Андреев мечтал о создании книги, что смогла бы «подействовать на разум, на чувства, на нервы

³ О влиянии Достоевского и «практики» его героев-идеологов сказано много, а вот о живом отклике в сознании будущего писателя экспериментов героев Поля Бурже стоит отметить особо (см.: Козьменко, М. В. Писатель Поль Бурже и гимназист Леонид Андреев (круг чтения и парадигмы поведения и письма). Новый филологический вестник. 2009, Т. 10, № 3).

человека, на всю его животную натуру» [Кен, Рогов 2010: 23]. Шестью годами позже, Андреев, на тот момент носитель «умственного хаоса» из ницшеанства и социализма [Андреев 2009: 41], мечтал о преобразующей силе: «Я бесконечно преклоняюсь перед силой – если бы я мог из области угрызений перейти в *область дела* (курсив – Л. И.), если бы я имел волю – я употребил бы её на развитие силы...» [Андреев 2009: 42]. Несмотря на то, что в сознании юноши мечты о волевом сокрушении собственного бессилия доминировали, в нём всё же чётко фиксировалась традиционная парадигма представлений о сущем и личностное отношение к ней: «<...> Ум, воспитанный в известных традициях, автоматически отмечает: это белое, это чёрное, но сердце не чувствует ни радости, ни горя <...>» [Андреев 2009: 42]. Индифферентизм по отношению к общепринятой системе ценностей, вероятно, требовал восполнения. Собственно поэтому студент Андреев пускался в рассуждения о возможности иного порядка вещей, иной линии поведения на грани дозволенного (т. е. мыслимого в процессе художественной реконструкции) и недопустимого для человека в обычной жизни: «Хотя мой ум и автоматически, но в то же время и так упорно, повторяет своё “чёрное”, “белое”, что *если бы* в жизни я удалился, *пошёл наперекор этим определениям*, то сам себя со свету сжил бы. Я могу ещё “подло” бездействовать, но подло действовать – *увы!* не в состоянии (курсив наш – Л. И.)» [Андреев 2009: 44]. Позднее, соотнося свою деятельность с активным революционным подвижничеством, своё творческое *specto* писатель определял так: «По натуре я... не люблю шума, драки, толпы и теряюсь в них..., вообще в *действие* не гожусь ни к чему. С другой стороны, люблю в тишине думать, и в *области мысли моей* задачи мои, как они мне представляются, революционные (курсив наш – Л. И.)» [Литературное наследство 1965: 128]. Так, в проблемном поле жизненного дискурса будущего писателя складывается особая мыслетворческая «область дела», в границах которой на фоне догматичного формируется экспериментальный принцип воссоздания действительности такой, какой она предстаёт в «революционном» сознании Андреева.

Не удивительно, что своим героям, «справляющимся» со свойственным им создателю автоматизмом традиционных представлений о чёрном и белом, автор сообщает должный импульс. Линии их экспериментального поведения приобретают причудливые траектории и составляют целый «паноптикум дискредитированных мировоззрений» (К. Исупов). Это и симуляция безумия («Мысль», «Из глубины веков»), фиглярство и гаерство («Гибель самозванца», «Оригинальный человек»), и затеи с подвохом (староста Копров в черновой редакции

«Жизни Василия Фивейского», «Иуда Искарот»), и спекуляция идеями (Аббат «Океан»), подстрекательство («Мои записки», Колесников «Сашка Жегулев», «Любовь к ближнему»), вредные чудачества и «штуки» («Нет прощения», «Сын человеческий»), игра и искушение («Анатэма», «Царь Голод», «Дневник Сатаны») и др. – в общем, «фокусы» (по выражению Керженцева) и «комедийки» (в дефиниции «дедушки»). В целом испытание духовных констант на их соответствие правде факта становится важной составляющей сюжетно-содержательной линии многих произведений Андреева, из которых повести «Мысль» и «Мои записки» занимают не последнее место. Поступки героев-экспериментаторов, что на уровне сюжета реализуются в ситуациях-пробах, опытах-доказательствах, многоходовых комбинациях, вывертах-чудачествах, определяются двумя ключевыми факторами: целеполаганием «опытной» практики и психологическим типом⁴ её устроителей. Действия персонажей анализируемых нами произведений следует квалифицировать как интеллектуальный эксперимент, а фигуры главных героев – не просто как «идейных» преступников, а целенаправленных апробаторов генерируемой ими идеи. В случае эксперимента Керженцева, «идеалиста наизнанку»,⁵ цель заключается в жажде деятельно-творческой «перелицовки» жизни, вызванной дьявольской обидой человека с завышенным самомнением. Это канонический ницшевский «сверхчеловек», однако, не только во множестве всех «против» этого типа, но и тех немногих «за»,⁶ коими вызваны реакции Ницше на мир в условиях «переоценки ценностей» [Басинский 1996]. Иным видится нам случай «дедушки»: эксперимент этого неуёмного подстрекателя, томимого жаждой мести и насмешки, приобретает форму вредоносной игры-издёвки над обывателями. Верно почувствовав общественную апатию после подавления революции 1905 года, герой, внутренне оставаясь невосприимчивым к паническим настроениям, умело ис-

⁴ Одного понятия «(сверх)индивидуалист» при безусловной его точности здесь явно недостаточно. Герой-индивидуалист в искусстве рубежа XIX–XX веков одно из ключевых явлений, поэтому эта дефиниция носит скорее констатирующий, а не конкретизирующий характер.

⁵ См.: Ф. С. Идеалисты высот и идеалисты бездны. Северный край. 1902, № 206, 207, 6 и 8 августа.

⁶ «Учёные показали, что тип русского нищепанца, представленный в образе Керженцева, сформировался в процессе отчуждения неординарной, сильной, честной личности от лживой, лицемерной, мелкоэгоистической буржуазной цивилизации» [Московкина 2005: 94]. «В устах Керженцева возвышенно и строго звучат его гимны мысли и человеку <...>. С сочувствием воспринимаешь его антимещанские выступления, в которых он доходит до идеи вселенского бунта» [Иезуитова 1970: 344].

пользовал их в своей глумливой забаве. С этих позиций многоходовка Керженцева выглядит безделкой самоуверенного юнца по отношению к полновесной «теории заговора» дедушки длиной в жизнь.

Так, вызрев в рамках личной убеждённости писателя в необходимости воплощения мысли в решительное дело, эксперимент в творческом дискурсе Андреева преобразуется в эксперимент-провокацию. В плоскости сюжетных построений провокация явилась смысловым ядром экспериментальных поступков героев, на уровне художественной коммуникации – определила качество «диалога» автора с читателем. Уже в повести «Мысль» оба уровня провокации представлены весьма зримо. Здесь для активизации читательского восприятия автор использует приём *вуалирования*, то есть «затемнения» истинных черт персонажа, сокрытия представлений о нём в подтекстах (это план содержания), что требует усилий по их «раскодированию» (коммуникативный уровень). Вуалирование как своеобразный сигнал-message взывает читателя к заполнению смысловых лакун. Этот приём формирует интерпретационный код, который в «Мысли» к тому же удвоен: с одной стороны, притворное помешательство героя в духе Гамлета требует ответа на вопрос о мотивации и целеполагании его преступления (Ревность? Зависть? Злость? «Проба» в духе Раскольникова?), с другой – понуждает читателя биться над разрешением вопроса о реальности сумасшествия Керженцева, его вменяемости или невменяемости. Качество же ответа на этот вопрос неизбежно раскалывает читающую аудиторию на тех, кто сочувствует горю человека, обманутого мыслью, и тех, кто категоричен в осуждении изощрённого в своём коварстве убийцы. Авторская позиция, апелляция к которой должна бы пролить свет на истинный облик героя, заключается в явном игнорировании дилеммы Керженцева [Андреев 1990: 620]. И это ещё один провокационный по отношению к читателю приём писателя – авторское *умолчание*.

Умолчание как намеренный уход автора от конкретизации и детализации позволяет ему изображать многомерные и диалектически сложные явления,⁷ избегая при этом однозначных характеристик и однобо-

⁷ Интересное наблюдение, сопряжённое с приёмом умолчания у Андреева, приводит М. Волошин: «При чтении “Елеазара” неотступно является один вопрос, который помимо воли автора заслоняет собою весь остальной смысл повести: “Кто же тот, кто воскресил Елеазара? Кто Он, кто решился устроить такое дьявольское издевательство над человеческой душой?”. Внутреннее чувство отказывалось назвать имя Христа, которое, ни разу не произнесённое автором, этим самым настоятельно возвращалось на уста и требовало быть произнесённым. Это умолчание имени воскресителя придавало особую значительность всем описанным психологическим явлениям. Теперь, после того как Леонид Андреев разоблачил в “Жизни Человека” всю основную механику жизни, совершенно ясно, что

ких оценок. Принцип «не солгу, но недоговорю» реализует функцию «ловушки» для читателя, где объектом авторского внимания, а соответственно и его провокации, становятся субъективные критерии добродетели и порока, которые и должен активизировать читатель в момент знакомства с текстом. При этом «шкалой измерения» для него является система ценностей, далеко не всегда сходная с моральной аксиологией героев. Поэтому парадоксальное учение автора «Записок» о красоте и целесообразности тюрьмы не может и не должно иметь утвердительных оценок. Для человека, мыслящего здраво, закономерна реакция недоумения как от смысло-содержательного её наполнения, так и от чеканного «логизма», с которым её создатель перелицовывает сомнительные послы в истину. И даже если учение «дедушки» по своей концептуальности походит на план идеального переустройства общества по типу утопии, то последнее должно истолковываться лишь с приставкой анти-⁸

В ситуации авторского «молчания» или недоговорённости, когда ключевой фактор в пояснении того или иного явления просто отсутствует, читателю ничего не остаётся, как опираться на личный культурно-нравственный ресурс. В интерпретации повести «Мои записки» этот ресурс стержневой, так как именно в этом произведении приём умолчания представлен рельефно и в гораздо большей степени, нежели в «Мысли», где герой в своих записках предельно откровенен. В зависимости от понимания или непонимания той игры, на которую Андреев провоцирует читателя фигурой новоявленного «праведника», рождаются взаимоисключающие толкования скрытых смыслов повести «Мои записки». До сих пор в исследованиях не преодолена полярность в оценке её главного героя. Одни видят в нём человека, вынужденного подчиниться ситуации, приспособиться к роковому стечению обстоятельств и, осмыслив свободу и жизнь в целом в духе кальдероновского Сехисмундо как иллюзию, прятаться от неё в «башне» самозаточения. Другие распознают ловкого манипулятора, извлекающего позитивные моменты из казалось бы безвыходного положения пожизненно заключённого. Также различными могут быть и литературные парал-

воскресил Елеазара из мёртвых Он – Некто в сером. Он задул свечу, а потом, когда Елеазар успел сгнить, снова зажёл её. Он – Некто в сером посвятил Елеазара в свои тайны, т. е. снял с его глаз “ограниченность зрения”, с его мысли “ограниченность знания” ...» (Волошин, М. (1988): Некто в сером. В кн.: Лики творчества. Ленинград: Наука, с. 453–454).

⁸ См.: Геллер, Л. (1994): Божественная гармония несвободы. Леонид Андреев и Евгений Замятин. В кн.: Слово – мера мира: Сборник статей о русской литературе XX века. Москва: МИК, с. 97–102.

лели. Если «дедушку» оценивать как человека, ложно осуждённого, то бесспорен интертекст Достоевского о невинных, страдающих за чужое злодеяние;⁹ если же – как изворотливого преступника, то контрапунктом проходят произведения, где теме злодейства-обмана сопутствует мотив духовной близорукости тех, кто, идя на поводу у мошенника, «сам обманываться рад» (например, Лукиана «О кончине Перегринна», Мольера «Тартюф», «Дон Жуан»). И следует заметить, что колоритные, созданные яркими мазками и сдобренные щедрой иронией героя-рассказчика образы «последователей» философии «железной решётки» наводят на мысль о тяготении андреевского текста к лукиановско-мольеровской сатирико-саркастической линии.

Типичным для произведений Андреева, где читатель искушаем авторскими умолчаниями, становится наличие у героев «затекстовой» биографии. Как правило, скрытыми остаются обстоятельства, свидетельствующие о попрании кодекса морали (нередко в связке с нарушением уголовного закона). Так, к «тёмному», провокативно замалчиваемому, но чётко распознаваемому в подтекстах прошлому героев можно отнести «респектабельную» жизнь Тота, преступное минувшее разбойника Хаггарта и палача с белыми руками Магнуса, «революционерство» Саввы, Колесникова и, весьма вероятно, тюремного философа, автора «Записок».¹⁰ В частности, наличие у «дедушки» с трудом распознаваемых фактов биографии существенно отличает способ изображения этого персонажа от принципа художественной презентации фигуры Керженцева. В изображении последнего явственна *ретроспектива*. Речь о ставших уже хрестоматийными в литературоведческих штудиях воспоминаниях героя, в которых аккумулированы сведения о склонностях доктора медицины, вызревании у него мыслительного своеволия и прогрессии опытно-провокативного механизма его проявления. В тройной ситуации интеллектуального поединка с обществом этот механизм сначала отлаживается в игре с доверием товарищей-гимназистов, друзей из ближнего круга. Затем совершенствуется героем в процессе проверки своего «потенциала» и попытке расширения его «границ» в отношениях с отцом. Наконец, фиксируется во всей пол-

⁹ «Сама ситуация “виновности-невиновности”, моделируемая в повести, восходит к жизненным и фабульным коллизиям русской истории – начиная от романов Достоевского и кончая русскими революционерами» [Андреев 2013: 678], – резюмирует мысли Л. А. Иезуитовой в своих комментариях к повести Г. Н. Боева.

¹⁰ На прямую параллель героя «Моих записок» с образами революционеров XIX – начала XX веков, по мнению Л. А. Иезуитовой, указывают два факта: его возраст на момент ареста и страсть к математике [Иезуитова 2010].

ноте в психологическом эксперименте над презируемым обществом, где Савелов выступает «подопытным кроликом», убийство – средством достижения цели, ситуация безнаказанности – планируемым результатом, а целью становится доказательство «сверхсилы» героя. Понятен и объект «посягательств» Керженцева в каждой из его проб. Первый поступок наносит обиду человеку как «образу и подобию»; второй – попирает законы морали, уважения и почитания; третий – должен свести на нет все законы, разорвать духовные скрепы, утверждая особый статус человека и его особые права. И, несмотря на то, что факты жизни доктора Керженцева составляют мозаичное полотно из ярких вспышек и менее значительных фактов, представленная в таком виде ретроспектива событий даёт вполне чёткие представления о психотипе героя. Жизнь же «дедушки» до его ареста почти не представлена ни в достоверных фактах биографии, ни в факторах становления его личности. Как результат, в тексте наличествует лишь констатация преступления без объяснения причин и мотивов. Доступные же читателю сведения о юном возрасте¹¹ осуждённого, учёной степени доктора математики, его влюблённости мало что поясняют. Более того, успешность молодого человека скорее диссонирует с его предполагаемой причастностью к расправе над членами своей семьи. Тревожно звучат разве что замечания о характере «крайней неустойчивости, печальной и резкой дисгармоничности» юноши [Андреев 2013: 114], но этого явно недостаточно для обвинений. Зато многое, если не всё, во взглядах и личностной позиции «дедушки» раскрывается уже в пору его пребывания в тюрьме.¹² Всё, что происходит с арестантом, говорит об ином, новом для него типе поведения, которое им выдаётся за откровение, а нам представляется растянутой во времени провокацией тех, кого герой счёл своими обидчиками. Вначале пылкий некогда юноша прилежно одолевает свою

¹¹ Возраст своего героя Андреев несколько раз изменял, всякий раз делая его, хоть и незначительно, но старше. В наброске будущей повести («Наша тюрьма», начало 1907 года) обозначен возраст 23 года. В черновом рукописном варианте «Моих записок» (август–сентябрь 1908 года) герой «старше» на год. В окончательной правке этого варианта определён «революционный», по мнению Л. А. Иезуитовой, возраст героя 27 лет (см. Андреев 2013: 407 и фото-вклейка рукописи).

¹² Л. Андреев словно дописывает историю прототипа «дедушки», совершившего непонятное с точки зрения логики преступление: «<...> в 1902 году, будучи сотрудником “Курьера”, молодой писатель присутствовал на судебном процессе девятнадцатилетнего Александра Кара, который при неясных обстоятельствах и без видимых причин убил мать и двух сестёр. Кто же он? – вопрошает Андреев в своём репортаже. – Исключительно сильная натура, сознательно ставшая по ту сторону добра и зла?.. Человек-зверь, жадный до крови, сам несчастная жертва тёмных инстинктов разрушения? Или, наконец, сумасшедший?» [Андреев 2013: 656].

страстность. Затем создаёт фундамент своей «религии», измышляя её символы («железную решётку») и фетиши-атрибуты (вроде окошка в двери камеры). Чётко продумывает и ловко маскирует под смиренно-непротивленным образом жизни шаги по внедрению своей идеи в сознание доступной ему аудитории. Причём весьма авторитетной (например, в лице начальника тюрьмы) и экзальтированной (в основном женской) аудитории, достаточной для того, чтобы поглотить голоса сомневающихся. Отбывая наказание уже в комфортных условиях узника на особых правах, новоявленный «гуру» ревностно оберегает идею от нападков, планомерно доводя до самоубийства и помешательства лиц, наиболее для неё опасных [подробнее см.: Генералова 1986: 177–178]. Единственным сильным противовесом на пути героя остаётся Библия. И если наедине с собой «дедушка» и пускается в кощунственные допущения относительно Христа, то прилюдно всё же избегает лобового столкновения с Писанием. К тому же он осознаёт, что культовый потенциал христианства можно применить с определённой выгодой. Свои умозаключения герой облекает в форму библейских постулатов, отказ от активной борьбы «адаптируя» под кротость, безучастность – под незлобивость, *credo* приспособленца – под образ безропотной жертвы. Так по-тартюфовски «дедушка» сопрягает два полярных этических центра порока и добродетели. По тому же сценарию «мученика» действует и персонаж Лукиана, лицемер Перегрин, как и герой Андреева, осуждённый за убийство отца. Различие между этими персонажами лишь в том, что инициировать сочувствие к себе лукиановскому притворщику не пришлось: христиане местной общины сами выбрали его в качестве объекта заботы, внимания и почитания.

Противопоставление Высшей Правды (христианства) и «головных» теорий есть и в «Мысли», однако последнее в повести представлено как диалектически подвижная система. Эксперимент Керженцева, как и провокация «дедушки», вызваны неприятием сими «учёными» мужьями рабской психологии обывателей. Однако встреча Керженцева с живой добродетелью, персонифицированной в образе сиделки Маши, – исключительное для арестанта событие, жизнь которого в ожидании приговора превратилась в истязание себя безответной «перепиской» с экспертами. В сопричастности к новому центру знания герой проходит ряд испытаний: от отчаяния, толкающего его на новое преступление (попытка самоубийства) (Лист четвёртый), до морально-физической «ломки» в ходе своего рода изгнания бесов молитвой (Лист седьмой): «В один тихий и мирный вечер, проведённый мною среди белых стен, – доводит герой до сведения врачей, – <...> хотелось мне

странных вещей, ... хотелось выть <...> рвать на себе платье и царапать себя ногтями. <...> И хотелось мне, д-ру Керженцеву, стать на четвереньки и ползать. А кругом было тихо, и снег стучал в окна, и где-то неподалёку беззвучно молилась Маша. <...> И, засучив рукава, я стал на четвереньки и пополз»¹³ [Андреев 1990: 414–415]. Приобщение к «бесшумной» Маше, разгадать тайну которой герой не в силах, заканчивается признанием своего отступничества от Абсолюта: «В одной из тёмных каморок вашего нехитрого дома живёт кто-то, очень вам полезный, но у меня эта комната пуста. Он давно умер,¹⁴ тот, кто там жил, и на могиле его я воздвиг пышный памятник» [Андреев 1990: 415]. Но даже проигрышная позиция Керженцева по отношению к столь презренной им поначалу Маше не влечёт за собой ни диких выдумок о ней, ни святотатственных допущений, ни характерных для его литературного *vis-à-vis*, автора «Записок», кощунственных уличений и обвинений.

Подсознательно, вследствие глубоко скрытого в человеке нравственного инстинкта, Керженцев раздираем теми внутренними противоречиями, что не возможны у «дедушки»: у того «самочинное умствование» [Горнфельд 1909: 109] «погасило» все инстинкты «живой жизни». Зашкаливающая эмоциональность Керженцева «дедушке» не характерна. Хотя моменты внутреннего диссонанса знакомы и ему. Двойственность адепта «тюремной» философии иного плана. О ней, как в целом о моральном пути этого героя, наиболее точно высказался сам Андреев: «Такие убийства бывают, и во время совершения их личность человека как бы раздвояется, рука его действует бессознательно <...>».

¹³Эта стихийная «животность» Керженцева кардинально отлична от той, что определяет стратегию сознательно провокационного поведения Навуходоносора, героя рассказа Л. Андреева «Из глубины веков» (1904). Притворяясь умалишённым и изображая зверя «на четвереньках», царь Вавилонии, ощущает сакральную суть собственной низости как проверки нравственных инстинктов своего окружения. Это отличает андреевскую версию безумства царя от библейской (кара за гордыню [Пророк Даниил, 4: 26–31]) и от идеи борьбы с Богом против рабской покорности человека перед Ним, на которой настаивал Горький [Литературное наследство 1965: 210]. Экспериментальное «скотство» как «высшее утверждение своего “я” на своих собственных развалинах» [Литературное наследство 1965: 212] просматривается и в действиях андреевского Иуды, который в определённый момент своих «испытаний» Христа решается вызвать на себя праведный гнев Учителя и опускается до скотства вора жертвований. Это последняя, так сказать, «бескровная» попытка Иуды-провокаатора продемонстрировать Иисусу истинный облик человека.

¹⁴В репортаже о злодеянии Александра Кара Андреев так резюмировал своё понимание его причин: «Что-то умерло, без стонов, без содроганий, ибо так неслышно умирает человеческая душа» [Андреев 2013: 656]. Здесь явствует и влияние философы Ницше «Бог умер», известной в России к моменту написания «Мысли» уже около десяти лет [Басинский 1996: 2] и прекрасно известной Андрееву.

Но вот на суде перед ним проходит страшная картина убийства <...> уже при ином душевном состоянии, когда по-прежнему разум вступил в свои права и задавил кровавые инстинкты. Разумеется, она так потрясает и поражает пришедшего в себя преступника, что даже самому себе он боится сознаться в своей вине. <...> И, даже представ перед престолом Бога, он будет твердить: нет, невиновен» [цит. по: А. И. 1908: 3].

У экспериментатора Керженцева ум «наизнанку», с затуманенным нравственным инстинктом: он «принимает своё мнимое знание за истинное, обманывает самого себя, и в итоге создаётся двойственная, своего рода “патовая” ситуация» [Бугров 2000: 28]. Но даже эта ситуация в свете христианской традиции воспринимается как душеспасительный задел: своеобразная остановка героя на перепутье, правда, далеко не всегда гарантирующая победу «живой жизни» над идеей. И хотя из финальных угроз Керженцева явствует, что рецидив «сверхчеловека» исключать нельзя, всё же видеть в герое вырожденца не совсем верно. Конечно, в нём много злобы и пробуждённого ею извращения мысли, однако герой ещё способен пусть и на редкие, во многом спонтанные, но от этого не менее удивительные душевные подвижки, которых даже в зародыше нет у героев, например, В. Ропшина («Конь бледный»), С. Фонвизина («В смутные дни»), А. Каменского («Люди»), позднее И. Бунина («Петлистые уши»), рождённых эпохой «реакционного» безвременья и предреволюционного «безумства храбрых». Действия этих персонажей, как и андреевского «гения приспособляемости» [А. И. 1908: 3] с его «гелертерским¹⁵ сумасшествием» (И. Анненский), уже вне вопросов допустимости злодеяния – они мотивированы его необходимостью, в случае целесообразности исходных положений, логической их обоснованности и практической полезности. На фоне этой искажённой псевдоморали неэмоциональность «дедушки» выглядит закономерной, а ревностное оберегание своей «цитадели логически неуязвимой философии» [Генералова 1986: 174] от «живой жизни»¹⁶ – принципиальным.

Симптоматично, что презентация фактов из жизни героев «Мысли» и «Моих записок», их экспериментально-провокативных замыслов развёрнута в различных парадигмах художественного времени. Если за ось внутреннего конфликта персонажей принять момент приговора, то в случае Керженцева преобладают факты настоящего в тесной смычке с ретроспекцией моментов отрочества и юности героя; жизнь «дедуш-

¹⁵Осложнённым излишней учёностью.

¹⁶Рассуждения о победе «живой жизни» над диалектикой у героев Достоевского и Андреева [Горнфельд 1909].

ки» в тюрьме дана в хронологической последовательности (хотя на момент записи многое из случившегося с ним стало фактом минувшего). Приговор (или его ожидание) выявляется своеобразной точкой отсчёта, когда «рациональное спокойствие убийцы» [Андреев 2013: 669] поколеблено. Но в случае одного этот факт становится камнем преткновения в его победоносном шествии к аморальной цели, в случае же другого – толчком к новым свершениям, немислимому по своим масштабам перевоплощению.

Всё вышесказанное красноречиво свидетельствует о том, что действия «дедушки» качественно иные, нежели у Керженцева. Образ адепта «железной решётки» «перерастает» свой литературный «прототип» и если и похож на него, то так, как чёрт походит на сатану. При этом коренное отличие этих героев не только в интенсивности негативных качеств, носителями которых они являются (например, эгоизма, крайностного прагматизма, автономизации от законов морали и пр.). Гораздо существеннее отличия тех угроз, которые несут в себе действия этих героев, и здесь метафора с чёртом и сатаной вновь будет уместна. Чтобы подчеркнуть эту разность в масштабах мыслимого и творимого героями, Андреев избирает разные способы презентации образов, авторско-го их раскрытия и самораскрытия.

* * *

Все факты обстоятельной авторской интроспекции в сопряжении с экспериментально-провокативными стратегиями героев позволяют текстам Андреева накапливать свойства аналитической конструкции, в структуре которой всё – от общей авторской установки до её воплощения в художественных деталях – взывает к здравому смыслу, нравственному чувству читателя, его субъективным оценкам и знаниям, культурной памяти:¹⁷ «... если бы, – замечает Л. А. Иезуитова, – суть повествования сводилась к сути исповедей, автор должен был бы помочь читателю отгадать загадку каждого из героев. Он этого *намеренно* (курсив – Л. И.) не делает» [Иезуитова 1970: 335]. Зато вполне осознанно Андреев стремится свести к минимуму давление своих суждений на воспринимающее сознание, отойти от поучительно-наставительного тона, характерного литераторам предыдущих эпох и идеологически «правильным» писателям-современникам. Авторский голос он сводит

¹⁷ Если «немая сцена» в «Ревизоре» Н. Гоголя стимулировала момент «всеобщего размышления» (В. Воропаев), то парадоксы и открытые финалы пьес Г. Ибсена и А. Чехова окончательно закрепили за зрителем (читателем) роль интеллектуально активного субъекта, а не просто объекта воздействия.

к напряжённому эмоциональным интонациям, а свою роль – к умелому (через намёки и подсказки) направлению читательского взгляда на «иную» реальность, моделируемую «опытной» практикой его персонажей.¹⁸ Потому формально-содержательный комплекс многих своих произведений о героях с особым мыслепорождением Андреев организует таким образом, чтобы сформировать у читателя новый этико-эстетический взгляд. Не только повесть «Мои записки», но и в не меньшей степени повесть «Мысль», а также «Рассказ о Сергее Петровиче», «Из глубины веков», «Иуда Искариот», «Савва», «Правила добра», «Сын человеческий», «Екатерина Ивановна» и др. имеют «насыщенный (и даже перенасыщенный) суггестивный план» [Генералова 1986: 178]. Именно он способствует накоплению у адресата текста опыта нестандартных суждений «о трудноразрешимых вопросах, на которые у разных людей в различных ситуациях имеются свои... ответы» [Иезуитова 2010: 327]. Показательно и то, что минимизация авторского «я» позволила писателю быть «гибким» в созидании художественного образа. Уверение Андреева в «автономности» персонажа, в том, что создатель не всегда может «быть ответственным за его поступки» [А. И. 1908: 3] и не должен «знать их лучше, чем кто-либо другой» [А. И. 1908: 3], вообще не авторское кокетство.

Немногим удалось распознать умение Андреева, «говоря одно, заставить понимать другое» [цит. по: Андреев 2013: 669], и практически ни у кого не вышло объяснить секрет того, «как это происходит» [Андреев 2013: 669]. При этом в «Мысли» и «Моих записках» факторы, наиболее воздействующие на сознание читателя, хорошо известны. Это и поражающие своей «сверхоригинальностью» теории персонажей, и шокирующий способ их доказательств, и, наконец, проблемная ситуация столкновения теории с практикой жизни. В художественной эстетике Андреева эти факторы тесно сопряжены: первые два – экспериментально-провокативными интенциями, о чём речь шла выше; третье реализуемо автором в наложении личностных устремлений героев на нормы морали, установки, законы общества. В качестве социальных регуляторов общественных отношений у Андреева чаще всего выступают такие институты, как церковь и суд. В представлении Андреева, дипло-

¹⁸Подобное отметил А. Редько в своём обозрении повести «Иуда Искариот» (1907): «Положение читателя... далеко не простое. <...> Вы находите фразы, слова, настроения и факты поведения Иуды, из которых *должно* (курсив автора) сложиться ваше собственное объяснение, но стройной связи этих слов и фактов, создающей из них искомое целое, вы не находите. Почувствовать эту связь... – задача вашего собственного отношения к “Иуде”» [Редько 1908: 10].

мированного юриста с большим опытом судебного хроникёра, правосудие – система, утратившая свою основную функцию, опошлившая как букву, так и дух Закона. Притязания на точность и разумность судебной системы, выносящей приговор Керженцеву и «дедушке», не состоятельны в разбирательстве «идейного» преступления: она не способна выйти из софистических тупиков и обезопасить себя от казуистического произвола комплексом «сдержек и противовесов».

Герои «Мысли» и «Моих записок» именно посредством *казуистики* (изворотливости доказательств) и *софистики* (ухищрений, вводящих в заблуждение) противостоят системе правосудия. Однако у хитроумных уловок, к которым они прибегают, есть и другая функция, напрямую связанная с аналитизмом сочинений автора. Так, Г. В. Ф. Гегель в намеренной фальсификации фактов видел выражение проблемной ситуации, где осью конфликта представляли «истины разума» (всеобщие и непреложные) и «истины факта» (вероятностные, к которым можно отнести и субъективные «головные» идеи героев). Интеллектуально-творческий инструментарий самого Андреева, как известно, был глубоко субъективен. Признавая великую силу общего знания, в творчестве писатель аккумулировал знание «собственного духа» [Жен, Рогов 2010: 44]. Но при этом целью своего творчества видел создание картины мира многомерной, по сути, «полемичной».¹⁹ Сомнение в том, что выгладит бесспорным, опровержение его фактами, открывшимися в ходе индивидуального аналитического осмысления, словно «выводят» предмет исследования писателя из контекста привычно-узнаваемого по средством его «остранения».²⁰ Оттого экспериментальная теория Керженцева и эпатажные формы провокации «дедушки», ошибочно соотносимые современниками писателя с личностной аксиологией самого Андреева, – лишь формы предельного (а провокация всегда строится на крайностных утверждениях), максимального заострения аналитического потенциала тех, к кому обращён авторский посыл. Принцип Андреева в постижении «изгибов» человеческой мысли (художественном предмете обеих повестей) – позиция отчуждения в равной степени и от общепринятых представлений о человеке, и от сдержанно-безэмоци-

¹⁹ В своё время Андреев сетовал на то, что полемичность повести «Мысль» заглушила те реакции, которых автор ожидал: острокритические отклики на произведение, которым писатель хотел взволновать публику, не позволили тогда ему оценить это явление по достоинству.

²⁰ Первоначально в оригинальной терминологии В. Шкловского «остранение» от слова «странный»: приём, когда понятное и хорошо знакомое делается «странным» с целью обострённо-внимательного взгляда на него.

онального их восприятия. В встревоженном и поколебленном в своих основах знании автора нашла своё выражение критически настроенная мысль писателя, для которого истина не заданная величина, а категория проблемная.

Подведём итоги. Произведения Леонида Андреева привлекают внимание как вещи с «изюминкой», нередко с сумасшедшинкой. Сопоставление «Мысли» и «Моих записок» (как чисто андреевских произведений) наряду с явными совпадениями темы преступления, мотива безумства, образа героя-убийцы определяемо и тем фактом, что за изображение изломов человеческого бытия взялся художник не просто «волнующий и тревожащий» (Б. Бугров), но интригующий и думать побуждающий.

Необычный поведенческий комплекс главных действующих лиц этих произведений осложнён апробативными посылами их мыслепорождающего сознания. Авторская установка на его расшифровку скрыта в особой интерпретационной стратегии активного вовлечения читателя – его эмоционального, нравственно-этического и интеллектуального ресурса. «Ускользающая» от реципиента текста позиция автора, его многозначительное «молчание» и относительная «автономность» развития персонажей – важный принцип художественной коммуникации Андреева с читателем. Позиция писателя, словно «теряющего» контроль над своим героем, может вызвать недоумение у тех, кто привык к функции автора комментатора и дешифровщика действий и мыслей своих персонажей. Если же рассматривать форму «редуцированного» авторского присутствия у Андреева как стимулятор читательского внимания методом провокации, то она становится не только понятной, но и вполне оправданной.

Авторские приёмы вуалирования и умолчания узловых фактов биографии героев и в целом особая подача художественного материала, сообщающая произведению импульс к самостоятельному интеллектуально-творческому осмыслению истины, расширяют аналитический горизонт повестей Андреева. Такие факторы, как наличие у героев «Мысли» и «Моих записок» сильнейшего житнетворческого «заряда» в виде головных идей и экспериментально-провокативной стратегии их апробации, значительно его упрочивают. Переиначенная мораль Керженцева и «дедушки» – своеобразный призыв публики к раздумьям. Не случайно, что содержащийся в их теориях полемически-аналитический задел особо ярко раскрывается в спайке и с индивидуально-нравственной аксиологией воспринимающего сознания, и с общечеловеческой системой ценностей.

В конструировании смыслов анализируемых повестей по принципу «головоломок» можно усмотреть как тривиальное усложнение автором беллетристической интриги, поддержание, так сказать, высокого градуса читательского интереса, так и сложный расчёт на перспективу восприятия текста, с учётом исторической вариативности критического взгляда читателя. Ведь, как известно, «новая эпоха даёт новое прочтение произведения», которое «взаимодействует с новым жизненным опытом читателя» [Борев 2003: 117]. В индивидуально-творческой рецепции житейского и универсального Андреева наличествует опыт по созданию эффективной художественной методологии, позволившей автору противостоять всему шаблонному, установленному, стандартизированному. И хотя таланту Андреева давали характеристику «холодного и надуманного» (М. Горький), а фигуру писателя представляли «сосудом, не могущим вместить все его идеи» (В. Маров), именно путь проблематизации (остранения) сущего давал ему возможность отступать от стереотипности представлений о природе человека и мироустройстве.

На уровне экспериментального модуса и провокативной аналитичности «Мысли» и «Моих записок» явствует, что эти произведения не столь уж созвучны друг другу, как принято считать. Кроме факторов общей поэтической природы, о коренном отличии этих текстов Андреева свидетельствует и интертекстуальный контекст. «Мысль», безусловно, написана «в духе» Достоевского: в полемике с основными мотивами творчества, но в созвучии с глубоко трагичными ощущениями классика. Для «Моих записок» магистральные некогда параллели с теорией непротивления Толстого и парадоксализмом героя «Записок из подполья» Достоевского сегодня уходят на второй план, а в установлении истинного значения этой повести способствует контекст творчества Лукиана, и прежде всего с его авторской позицией мудрого скептика. Относительно литературно-художественных стратегий современного Андрееву искусства можно отметить предвосхищающий характер провокативных стратегий этого писателя. Масштабное шествие художественной провокации (как приёма, творческого метода, литературной стратегии) начнётся несколько позже, с укреплением в литературе 20–30-е годов XX века авангардных (экспериментальных) форм художественного сознания, и позднее – пантрагических и абсурдистских настроений, а также процессов интеллектуализации литературы.

Следующим шагом в анализе художественной провокации у Андреева могло бы стать рассмотрение межтекстовых связей «Мысли» и «Моих записок» на концептуальном уровне, где основным стало бы

соизмерение представленных в них моделей преступления на гомогенность и анализ авторских стратегий их художественной реализации.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- А. И. [Измайлов, А. А.] (1908): Леонид Андреев о своей повести. *Биржевые ведомости*, № 10797, с. 3.
- АНДРЕЕВ, Л. Н. (1990): *Собрание сочинений: в 6 т.* Т. 1. Москва: Художественная литература.
- АНДРЕЕВ, Л. Н. (2013): *Полное собрание сочинений и писем: в 23 т.* Т. 6. Москва: Наука.
- АНДРЕЕВ, Л. Н. (1994): *S. O. S. Дневники (1914–1919); Письма (1917–1919); Статьи и интервью (1919); Воспоминания современников (1918–1919)*. Москва; Санкт-Петербург: Феникс; Париж: Atheneum.
- АНДРЕЕВ, Л. Н. (2009): *Дневник 1897–1901 годов*. Москва: ИМЛИ РАН.
- БАСИНСКИЙ, П. (1996): Путешествие Заратустры в Россию: Ницше и русская литература от Достоевского до Зощенко. *Первое сентября. Литература*, 1996, № 11, с. 2–3.
- БОРЕВ, Ю. Б. (2003): *Эстетика. Теория литературы: энциклопедический словарь терминов*. Москва: Астрель; АСТ.
- БУТРОВ, Б. С. (2000): *Леонид Андреев. Проза и драматургия*. Москва: МГУ.
- ГЕНЕРАЛОВА, Н. П. (1986): «Мои записки» Леонида Андреева (к вопросу об идейной проблематике повести). *Русская литература*, 1986, № 4, с. 172–185.
- ГОРНФЕЛЬД, А. Г. (1909): «Мои записки» Леонида Андреева. *Русское богатство*, 1909, Кн. 1, с. 96–120.
- ГРИГОРЬЕВ, А. Л. (1972): Леонид Андреев в мировом литературном процессе. *Русская литература*, с. 190–205.
- ГУСЕВА, Т. К. (2012): Гармония и хаос: концепция экзистенциального человека Леонида Андреева. In: *Вестник МГУ. Сер. Филологические науки*, 2012, Вып. 2, с. 14–26.
- ИЕЗУИТОВА, Л. А. (1970): «Преступление и наказание» в творчестве Андреева («Мысль» и «Мои записки»). In: *Метод и мастерство*, Вып. 1, Вологда, с. 333–347.
- ИЕЗУИТОВА, Л. А. (2010): Повесть Л. Андреева «Мои записки» как явление модернизма (предавангарда). In: *Леонид Андреев и литература Серебряного века*. Санкт-Петербург: ИД «Петрополис», с. 317–331.
- КЕН, Л. Н., РОГОВ, Л. Э. (2010): *Жизнь Леонида Андреева, рассказанная им самим и его современниками*. Санкт-Петербург: КОСТА.
- Горький и Л. Андреев. Неизданная переписка*. (1965): Литературное наследство Т. 72. Москва: Наука.
- МОСКОВКИНА, И. И. (2005): *Между «pro» и «contra»: координаты художественного мира Леонида Андреева*. Харьков: ХНУ им. В. А. Каразина.
- РЕДЬКО, А. (1908): Хорошие и плохие у Л. Андреева. In: *Русское богатство*, № 6, с. 10.

Профиль автора:

Икитян Людмила Нодариевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных наук Института педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского».

Научные интересы:

литературный процесс рубежа XIX–XX веков; творчество Леонида Андреева, творческие индивидуальности русского реализма рубежа веков (В. Гаршин, А. Чехов, В. Вересаев) и неореализма (Евгений Замятин, Илья Эренбург); диалог русской и западноевропейской литератур; художественный эксперимент и провокация как творческие стратегии; взаимодействие литературы и мифологии.

Россия

296012 г. Армянск

ул. Железнодорожная, 5

Институт педагогического образования и менеджмента (филиал)

<http://ipomkfu.ru>.

ludmilkatiran@mail.ru

ВЕРОНИКА ВИКТОРОВНА КАТЕРМИНА

Россия, Краснодар

ЭТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА В НОМИНАЦИЯХ ЧЕЛОВЕКА

ABSTRACT:

Ethical evaluation in the nominations of a person

The article is devoted to the description of the ways of ethical assessment in the nominations of Russian and English people based on the lexicographical sources and literary works by N. V. Gogol and Ch. Dickens. The ideographical, semantic, metaphorical and word-formation criteria of ethical evaluation in the nominations of Russian and English people are singled out and thoroughly analysed. The nominations taken from literary works support the main idea about the same tendencies while describing national-cultural peculiarities of an inner world of a person in dictionaries.

KEY WORDS:

Ethical evaluation – nominations of a person – connotation – lexical units – phraseological units – literary text – dictionaries – microcontext – macrocontext – semantics – metaphor – word-formation.

Один из аспектов изучения человека – рассмотрение и систематизация языковых оценок, которые представляют собой специфическую разновидность познавательной деятельности и строятся на основе как научного знания, так и фактов обыденного сознания, являющегося осмыслением познавательного опыта определенной национально-исторической общности людей. В обыденном сознании универсальные оценочные категории реализуются вместе с «наслоениями» национальной психологии, национального видения мира. Посредством преломления через национальную психологию и культуру они приобретают ценност-

ную значимость и эмоциональную окрашенность [подробнее см. Богуславский 1994].

Изучая языковые оценки человека, мы тем самым пытаемся осмыслить, систематизировать и описать их как факты обыденного сознания и национально-образного мышления в универсальных категориях так, как они представлены в языке, в значениях единиц номинации, воссоздав тем самым фрагмент картины мира в сознании языковой личности.

Цель данной статьи – рассмотреть этическую оценку в номинациях человека на материале русских и английских лексикографических источников [В. И. Даль, В. В. Катермина, А. В. Кунин, А. И. Молотков, V. H. Collins, W. Freeman, F. T. Wood], а также полного собрания сочинений произведений Н. В. Гоголя и Ч. Диккенса. Выбор данных авторов был обусловлен наличием художественных и мировоззренческих параллелей в творчестве этих писателей, что отразилось в исследованиях таких литературоведов, как Г. А. Гуковский, А. А. Елистратова, В. В. Ивашева, И. М. Катарский, Ю. В. Манн, М. А. Нерсесова, Т. И. Сильман, Д. М. Урнов и др. Однако до настоящего времени недостаточно внимания уделялось проблеме изучения особенностей языковых личностей, отразивших в полной мере национально-языковое сознание своих народов.

Будучи носителями национально-культурных ценностей, с одной стороны, и создателями своей философии, с другой, Н. В. Гоголь и Ч. Диккенс в своем творчестве воплотили как особенности национального мировидения, так и индивидуальное восприятие окружающей действительности. Их модели номинации (в данном случае номинации морально-нравственных качеств человека) воздействовали на процесс наименования в национальном языке, отразившись в ментальности народов России и Англии.

Под единицами номинации нами понимаются «коннотативно осложненные лексические и фразеологические единицы, называющие человека по каким-либо признакам, качествам, свойствам, а также свободные сочетания, в которых функционируют слова-номинации, обеспечивающие синтагматические приращения их значения» [Катермина 2004: 4].

Объектом исследования были избраны единицы номинации в микроконтексте (лексикографически обработанные коннотативно наполненные слова и фразеологизмы) и макроконтексте (свободные сочетания в художественном тексте). Их объединение и сопоставление в русском и английском языках позволяет проникнуть в глубь национального язы-

кового сознания и изучить фрагменты языковой картины мира двух стран.

Номинации человека – ценностно значимая совокупность представлений о языковой личности, исторически сложившаяся в рамках национальной культуры как результат обобщения различных аспектов ценностных ориентаций – морально-этических, эстетических, прагматических установок и норм.

Исследование понятия языковой оценки дает возможность предположить, что познавательно-классифицирующая деятельность человека находит отражение в языковых единицах, в частности, в словах, закрепляющих наряду с результатами познавательной деятельности человека и отношение познающего субъекта к познанной действительности; таким образом, оценочный компонент выступает как обязательный семантический компонент значения слова [Катермина 2004].

У каждого народа существует определенный набор морально-нравственных качеств, наиболее ценимых и превозносимых. Противоположные черты осуждаются в многочисленных единицах номинации.

Приведем полученный нами в результате семантико-статистического исследования количественный список рассматриваемых номинантов в русском и английском языках (первая цифра в пропорции обозначает количество оценочных слов, полученных методом сплошной выборки из словарей – русских и английских, соответственно; вторая – примеры из произведений Н. В. Гоголя и Ч. Диккенса): ханжа, лицемер (23/2; 17/3); трус (7/0; 23/3); подлиза, льстец, угодник, подхалим (32/2; 23/6); плут, хитрец, мошенник, ловкач, проворный, лукавый человек, шулер (90/39; 69/20); злой, жестокий, зловредный человек, злодей, изверг (54/6; 27/11); нахал, наглец, хам (41/1; 18/1); подлец, мерзавец, подонок, негодяй, скотина (44/30; 58/18); скромный, робкий, застенчивый, доверчивый человек (26/0; 6/9); обыватель, посредственность (1/1; 28/2); скряга, жадина (50/6; 26/3); хулиган, буян, драчун (26/3; 17/2); бабник, волокита, распутник (41/6; 27/5); шлюха, проститутка (41/1; 71/7); пьяница, любитель спиртного (48/18; 45/6); денди, щеголь, модник (58/5; 31/4); неряха (74/2; 9/2); добрый, мягкосердечный, великодушный, щедрый человек (12/8; 11/28); честный, порядочный, благородный человек (0/7; 11/3); благоразумный, благонамеренный, почтенный человек (2/13; 1/4); ветреный, непостоянный человек (28/5; 1/3); пустой, ничего не значащий человек (8/5; 4/4).

Представленный выше список мы условно разделили на две группы по частоте употребления анализируемых единиц в обоих языках. В первую группу входят такие осуждаемые морально-этические качества,

как **обман** и **мошенничество**, **подлость**; во вторую – **распутство** и **пьянство**. Эти качества мы и будем подробно анализировать в рамках данной статьи.

Плут, хитрец, мошенник, ловкач, шулер, проворный, лукавый человек

Первую группу рассматриваемых единиц составляют номинанты с общим оценочным значением «плут, хитрец, мошенник, ловкач, шулер, проворный, лукавый человек».

Анализ примеров позволяет определить, что данная группа неоднородна и включает в себя слова со значением **обманывать вообще**: *оплетала* (оплетать) – обманывать, надувать; *окунала* (окунуть) – обманывать, надувать; *манила* (манить) – обманывать, дурачить; *маргафон* (маргафонить) – плутовать, мошенничать; *cozener (to cozen)* – to trick, to deceive (обманывать); *gull (to gull)* – to cheat or deceive (обманывать); *knaver (to knave)* – to deceive (обманывать); *bamboozler (to bamboozle)* – to deceive (обманывать). Исходя из наших наблюдений, в русском языке отдельно выделяется группа единиц, производных от глаголов со значением **проходить сквозь что-либо**: *пролаз* – пролазить; *порошлец, пройдоха* – проходить; *пронырщик, проныра* – проныривать; *простега* – простегивать; *проноза* – пронаживать, пронизать.

Можно также выделить **специфические способы обмана**, обозначенные при помощи единиц данной семантики: *обай* (обаивать) – обмануть красобайством, особенно при продаже или покупке; *опекал* (опекать) – надувать, обирать под видом охраны, опеки; *хахаль* – обманщик, плут, надувала, принимающий вид порядочного человека; *сьедун* – мошенник, сутяга, от которого нет покоя; *feigner (to feign)* – to pretend to have or to be someone else (делать вид, притворяться кем-то); *con man (to con)* – to trick a trusting person in order to get money (обманывать доверчивого человека с целью добыть деньги); *fraud* – deceitful behaviour for the purpose of making money which may be punishable by law (нечестное поведение с целью получения денег, караемое законом); *scrounger (to scrounge)* – to get sth. without work or payment or by persuading others (получить что-либо не работая или бесплатно, или при помощи убеждения); *grafter (graft)* – the practice of obtaining money or advantage by the dishonest use of esp. political influence (получение денег или преимуществ нечестным путем, особенно при помощи политического влияния).

В русском языке, как демонстрирует исследуемый материал, в отдельную группу можно выделить единицы со значением **обманщик-**

торговец, перекупщик: *маклак* – сводчик, посредник при продаже и купле, базарный плут; *кулак* – перекупщик; *прасол* – перекупщик, кулак, сводчик.

Следует особо отметить, что как в русском, так и в английском языке существует отдельная группа единиц, в которых значение **мошенник** усилено дополнительной коннотацией **опытный, бывалый:** *выжигга* – простореч. опытный плут, пройдоха; *дошляк* – бывалый, тертый проныра, пройдоха; *жох* – простореч. тертый, бывалый, закаленный, опытный дока и наглый плут; *жиган* – пройдоха, наторелый плут; *тертыш* – разг. опытный плут.

Данное качество может быть выражено и с помощью слова **старый/old – живущий очень долго – having lived or existed for a long time:** *старый лис* – устар. презр. хитрый, лукавый человек; *old fox* – старая лиса; *old dodger* – старая бестия.

В английском языке также можно выделить группу единиц, в которых присутствует компонент **пол:** *rogue* – a dishonest person, esp. **a man** (жулик); *scallywag* – a dishonest person, esp. **a child** (мошенник); *sly puss* – **девушка** с хитрецей, *Becky Sharp* – **авантюристка**, охотящаяся за богатым мужем (героиня романа У. Теккерея «Ярмарка тщеславия»).

В ходе исследования установлено, что образная семантика единиц со значением **хитрец, мошенник, жулик, обманщик** представлена в большинстве случаев **зооморфизмами:** *гусь/гусь лапчатый* – разг. прост. плут; *жук, жучок* – проныра; *лиса/лиса патрикеевна* – прост. хитрый, ловкий человек; *old fox* (лиса) – старая лиса; *jackal* (шакал) – жулик, низкий обманщик; *sharker* (акула) – пройдоха; *sly dog* (собака) – хитрец; *sly puss* (кошечка) – девушка с хитрецей.

Стоит отметить использование в английском языке **образа рыцаря:** *knight of industry* – мошенник; *knight of fortune* – эвф. рыцарь легкой наживы, авантюрист; *knight of the elbow* – устар. эвф. шулер; *knight of the whipping-post* – шутил. жулик, шулер.

Анализ языкового материала свидетельствует о том, что словообразовательная особенность данной группы заключается в большом количестве единиц, образованных от глаголов, что не является случайным, так как для этой группы специфично поведение, то есть действие, выражаемое **глаголом:** *манила* (манить) – обманывать, дурачить; *облупа* (облупошить) – обобрать, как липку, обмануть; *огудала* (огудать) – обмануть, провести, облапошить; *ошукала* (ошукать) – провести, обмануть, надуть; *juggler* (to juggle) – обманывать; *cozener* (to cozen) – обхитрить, обмануть; *cheater* (to cheat) – *обманывать*; *gull* (to gull) – обмануть; *trickster* (to trick) – обмануть.

Данные качества человека представлены широко и в свободных сочетаниях (макроконтексте) в произведениях Н. В. Гоголя и Ч. Диккенса, что подтверждается анализом языкового материала.

Средства выражения данного вида оценки достаточно разнообразны. Исходя из наших наблюдений, в данной группе можно выделить свободные сочетания с **образной основой** (что более характерно для английского языка – 8 единиц) [*the deepest dog* – величайший хитрец; *old hand* – опытный человек; *foxy old gruner* – старая лиса]; использованием **слов-интенсификаторов** (слово, способное изменять степень признака ведущего слова), выраженных в макроконтексте при помощи **превосходной степени прилагательных и интенсифицирующих слов *архи-* и *very*** (4 единицы в русском языке и 5 в английском) (*архиплуты*; *первейший* хапуга; а *very dupe thing* – очень хитрая особа; *the sharpest practitioners* – умнейшие дельцы), а также **прилагательных, интенсифицирующих** оценку того или иного качества (16 русских единиц и 12 английских) (*ловкий* светский доктор; *предприимчивый* приказчик; а *cunning fellow* – хитрый малый; а *smart fellow* – ловкий человек).

Особенностью употребления свободных сочетаний данного типа в текстах Н. В. Гоголя и Ч. Диккенса является их способность не только называть качества, присущие человеку, но и обозначать классы людей, для которых данные свойства являются прямой характеристикой (в данном случае мы не имеем в виду контекстные приращенные значения).

Так, например, языковой материал демонстрирует, что универсальным приемом является оценка черт характера отдельной личности:

– Ну да ведь я знаю тебя: ведь ты **большой мошенник** (Гоголь: Мертвые души).

“*The sharpest practitioners I ever knew, sir*” (Dickens: The Posthumous Papers of the Pickwick Club). – **Самые хитрые мерзавцы**, с какими я когда-либо имел дело (Диккенс: Посмертные записки Пиквикского клуба).

В произведениях Н. В. Гоголя можно выделить большое количество примеров, в которых имеется прямое указание на профессионально-социальную принадлежность:

Хлестаков. Эка **бестия трактирщик**, успел уже пожаловаться! (Гоголь: Ревизор).

Светский человек, щеголеватоодетый. **Плут портной претесно** сделал мне панталоны, все время было страх неловко сидеть (Гоголь: Театральный разъезд после представления новой комедии).

Следовательно, номинация человека с точки зрения этической оценки, в частности, таких его качеств, как плутовство, хитрость, мошенничество, ловкачество, лукавство, помимо выделения общих сем, свидетельствующих о типичности восприятия языковыми личностями подобных людей, показывает и их специфику: «обманщик – торговец, базарный плут» – в русском языке; «обход закона, использование политического влияния, убеждения» – в английском языке.

Присутствие гендерного компонента в английских единицах данного типа, на наш взгляд, указывает на то, что данными отрицательными качествами может обладать каждый англичанин – мужчина, женщина, ребенок.

Также следует подчеркнуть доминанту зооморфических образов в метафоризации описанных качеств и большое количество отглагольных существительных, что связано с поведенческой спецификой данной группы.

Как демонстрируют примеры, в свободных сочетаниях в произведениях Н. В. Гоголя и Ч. Диккенса среди основных средств для выражения данных качеств можно назвать создание образной основы, а также слова-интенсификаторы.

Универсальным приемом оценки характера человека является описание качеств отдельной личности. В творчестве Н. В. Гоголя выделяется ряд единиц, содержащих указание на социально-профессиональную принадлежность лица.

Подлец, мерзавец, подонок, негодяй, скотина

Вторую группу рассматриваемых единиц составляют номинанты со значением «подлец, мерзавец, подонок, негодяй, скотина».

В данной группе, исходя из наших наблюдений, можно выделить две основные образные сферы: *номинанты с зооморфическим компонентом и лексемы, несущие в своей основе компонент «скверна, грязь».*

Рассмотрим подробнее каждую из этих групп.

1. Зооморфический компонент, как явствует из приведенных здесь примеров, представлен названиями животных, в которых подчеркиваются такие качества, как **нечистоплотность, неразборчивость**: *гнус* – *бран. простореч.* гнусный человек; *пес* – *презр. бран.* человек, способный на низкие поступки; *свинья/свинтус* – *подлец*; *скотина* – *перен. простореч. бран. вульг.* грубый, подлый человек; *тварь* – *прост. презр. бран.* негодный человек; *rat* (крыса) – *негодяй*; *coyote* (койот) – *негодяй*; *dirty dog* (собака) – *негодяй*; *worm* (червь) – *негодяй*.

2. Анализируемый языковой материал позволяет отметить, что единицы, несущие в своей основе компонент **скверна, грязь**, в основном представлены в русском языке: *кобь* – мерзавец, негодный человек // *кобь* – погань, скверность, гадость; *паскуда* – простореч. вульг. бран. мерзкий человек, пакостник // *паскуда* – скверность, гадость, порча или убыток; *стерва/стервец* – перен. простореч. вульг. бран. подлый, отвратительный человек // *стерва* – падаль, дохлая скотина; *мерзавец* – разг. бран. подлый, безнравственный человек, негодяй // *мерзость, мразь* – скверна, гадость, погань; *прохвост* – разг. бран. не порядочный человек, подлец, негодяй // *прохвост* (профос) – военный парашник, убирающий в лагере все нечистоты.

Следует выделить **словарные пометы**: презр., груб., бран., пренебр.: *сволочь* – бран. негодяй, мерзавец; *тварь* – разг. фам. вульг. презрительное или бранное обозначение человека; *прохвост* – разг. бран. не порядочный человек, подлец, негодяй; *пес* – ритор. человек, вызывающий негодование, заслуживающий презрения; *hellion* – презр. мерзавец; *limb* – презр. негодяй; *a bad hat* – презр. негодяй.

В процессе исследования текстов художественной литературы было установлено, что способы достижения этической оценки данного типа в свободных сочетаниях частично совпадают со средствами, используемыми в устойчивых единицах. В произведениях Н. В. Гоголя и Ч. Диккенса можно выделить немногочисленную группу сочетаний с образной сферой (4 единицы в русском языке и 2 в английском):

Сосед выражался о нем (Тентетникове) лаконическим выраженьем: «Естественнейший скотина!» (Гоголь: Мертвые души).

Основным способом, как свидетельствуют рассматриваемые примеры, является следующие **прилагательные, интенсифицирующие** отрицательную оценку рассматриваемых качеств: **негодный, проклятый, подлый, dreadful, damned, detestable**:

Кочкарев. *Какая противная, подлая рожка! Взял бы тебя, глупую животину, да щелчками бы тебя в нос, в уши, в рот, в зубы...* (Гоголь: Женидьба).

“Mas’r Davy», exclaimed Ham... I am far from laying of it to you – but his name is Steerforth, and he’s a damned villain!” (Dickens: The Personal History of David Copperfield). – *Мистер Дэви!.. у меня и в мыслях не было вас винить... но его имя – Стерфорт, и он – последний негодяй* (Диккенс: Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим).

Таким образом, подводя итог рассмотрению номинантов со значением **подлец, мерзавец, подонок, негодяй, скотина**, отметим, что для

русской и английской языковых личностей мерзкие, подлые, негодные люди ассоциируются с образами тех животных, которые своим поведением указывают на недостойный поступок. Только в русской языковой картине мира данный тип людей ассоциируется еще с понятием скверны, грязи.

Внешняя нечистоплотность прямо и ярко показывает мерзкую сущность человека, его подлое поведение и поступки.

Выделение многочисленными способами данных моральных качеств в русской языковой картине мира свидетельствует о важности чистоты русской души.

Данные способы выделения этической оценки находят свое отражение и в свободных сочетаниях, что позволяет говорить об общих критериях в выражении оценки в микро- и макроконтекстах (лексические и фразеологические единицы, а также свободные сочетания в художественных произведениях).

Шлюха, проститутка

В ходе анализа языкового материала было установлено, что количество единиц, обозначающих женщин сомнительного поведения в русском и английском языках, очень значительно.

Этическая отрицательная оценочность в данной категории наименований, исходя из наших наблюдений, выражена следующими средствами.

1. Лексико-синтаксические средства: сложные слова и словосочетания, одним из компонентов которых является сема **женщина**: *женщина легкого поведения* – разг. проститутка; *охотная баба* – прост. проститутка; *панельная девица* – разг. проститутка; *дама полусвета* – разг. женщина легкого поведения; *продажная/публичная/уличная девка* – разг. проститутка; *девица легкого поведения* – неодобр. распутная женщина; *lady of easy virtue* – разг. женщина сомнительной нравственности, легкого поведения; *dutch widow* – разг. проститутка; *common woman* – разг. проститутка; *painted woman* – разг. проститутка; *the strange woman* – разг. проститутка; *needle-woman* – разг. проститутка; *fancy woman* – разг. любовница, содержанка, проститутка.

Отрицательная оценка в данной группе достигается **прилагательными, усиливающими** негативное восприятие данного качества (*панельная, продажная, публичная, уличная, gay, painted, common, strange*).

2. Словообразовательные средства: конверсия – наиболее характерный способ словообразования в английском языке. Данные единицы, как свидетельствуют примеры, образовались от глаголов со зна-

чением **заниматься сексом**: *lay* – доступная женщина // *to lay* – сл. заниматься сексом; *take* – женщина легкого поведения // *to take* – заниматься сексом; *screw* – потаскуха // *to screw* – эвф. заниматься сексом; *shack* – женщина легкого поведения // *to shack* – провести ночь с кем-либо. Суффиксальность представлена в русском языке суффиксами *-к-* (*хибалка* – распутница); *-иц-* (*блудница* – книжн. проститутка; *шабольница* – потаскуха); *-уш/ушк-* (*трепушка* – проститутка; *истаскуша* – потаскушка; *потаскушка* – распутная женщина), а в английском языке наиболее употребительным суффиксом *-er* (*commoner* – разг. проститутка; *moonlighter* – устар. проститутка; *trader* – проститутка; *goat-milker* – проститутка).

3. Лексико-фразеологические средства: отрицательная оценочность выражена **мифическими** (*Армида* – проститутка; *Circe* (Цирцея) – греч. миф. обольстительница), **библейскими** (*кающаяся Магдалина* – книжн. ирон. распутная женщина, осознавшая свой порок и испытывавшая чувство раскаяния), **зооморфическими** образами, представленными наиболее полно в английском языке (*green goose* (гусыня) – разг. проститутка; *loose fish* (рыба) – разг. проститутка; *owl* (сова) – разг. проститутка; *cow* (корова) – проститутка; *cat* (кошка) – проститутка; *goat-milker* (козел) – проститутка).

Как установлено в ходе исследования, в русском языке многие единицы, имеющие значение **распутная женщина**, тесно связаны с одеждой и внешним видом представительниц слабого пола. В словаре В. И. Даля слово «шлюха» связано исключительно с неопрятным внешним видом женщины (*шлюха* – женщина-неряха, одетая кое-как, небрежно, грязно [Даль 1995: 639]). В Толковом словаре русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова «шлюха» вторым значением дается как синоним слова «проститутка, распутная женщина» [Ушаков 1994: 1355]. Следующие примеры наглядно демонстрируют связь неопрятного вида женщины с ее распутным поведением: *халява* – *бран.* неряха, растрепанная, неопрятная женщина // *непотребная* женщина; *ватла* – шлюха // *вазола* – дерюга; *шобонница* – шлюха // *шобоны* – тряпье, обноски, ветошь; *шабольница* – шлюха // *шобала* – лохмотья, ветошь, истасканная одежда; *трепушка* – проститутка // *трепулье* – тряпки, ветошь, лохмотья.

В противоположность вышеприведенным примерам, в русском языке также имеются единицы, в которых значение **распутница** связано с любовью к нарядам, стремлению наряжаться напоказ: *шмонка* – распутница // *шмоничать* (о женщине) – рядиться напоказ; *красава* –

женщина дурного поведения // *красотничать* – красоваться напоказ, прельщать, кокетничать.

Еще одна группа единиц со значением **развратная женщина**, исходя из наших наблюдений, связана с русским обычаем, согласно которому замужняя женщина должна была покрывать голову платком (*ср. покрыть девке голову* – выдать замуж): *простоволоска* – незамужняя женщина вольного поведения, иногда расплетает косу надвое, но платка не носит; *покрытка* – девка, вынужденная падением своим покрыть голову платком или очепком, причем обычно коса не убирается под платок.

В ходе изучения было выявлено, что в структуре значения единиц, обозначающих распутных женщин, в английском языке можно выделить дополнительный компонент **сварливая баба, ворчунья** (*callet* – распутная женщина // сварливая баба, ворчунья; *cat* – *устар.* проститутка // сварливая женщина), а также сему **возраст**, выраженную при помощи слов *young* – молодой, *old* – старый: *minx* – проститутка (*old fash. derog. often humor a disrespectful young woman*); *baggage* – проститутка (*a good-for-nothing young woman*); *ewe-mutton* – *устар.* проститутка (*ewe* – старка).

На наш взгляд, выделение семы **неопрятный внешний вид и стремление наряжаться напоказ** как синонима русской распутной женщины является еще одним доказательством важности для русского человека неразрывной связи внешней и внутренней духовности, общности двух миров. В сознании носителей языка складывается представление, что неряшливый вид порождает небрежность в поведении и ведет к аморальности.

Отдельно стоит отметить отношение языковой личности к данному типу женщин, выраженному в свободных сочетаниях в текстах Н. В. Гоголя и Ч. Диккенса.

В произведениях Н. В. Гоголя мы сталкиваемся с проститутками в городе, который является воплощением разврата, всего самого грязного и аморального (и в этом противопоставлении города и села, по нашему мнению, подчеркивается мысль о сущности русского человека, его нравственной чистоте, которая может существовать только вдали от цивилизации, в глубинке):

...что он зашел в тот отвратительный приют, где основал свое жилище жалкий разврат, порожденный мишурною образованностию и страшным многолюдством столицы. Тот приют... где женщина, эта красавица мира, венец творения, обратилась в какое-то страшное, двусмысленное существо... (Гоголь: Невский проспект).

Проституткам в романах Ч. Диккенса отведена немалая роль. Как замечает Э. Уилсон, эти падшие женщины не являются святыми в отличие от Сони Мармеладовой у Достоевского [Уилсон 1975: 108], но они жертвы общества и это делает их своего рода невинными изгоями. Нарушая моральные нормы, они тем не менее не вызывают у нас антипатии или презрения. Однако они чужие в этом мире, им нет места:

The miserable companion of thieves and ruffians, the fallen outcast of low haunts, the associate of the scourings of the jails and hulks, living within the shadow of the gallows itself (Dickens: The Adventures of Oliver Twist). – **Жалкая сообщница** воров и грабителей, **падшее существо**, исторгнутое грязными притонами, **помощница самых мерзких преступников**, живущая под сенью виселицы... (Диккенс: Приключения Оливера Твиста).

Her fallen sister came on, looking far before her, trying with her eager eyes to pierce the mist in which the city was enshrouded (Dickens: Dealings with the Firm of Dombey and Son). – **Ее падшая сестра** шла, глядя прямо перед собой, стараясь пронизать острым взором туман, которым был окутан город (Диккенс: Торговый дом Домби и сын).

Очень часто, как свидетельствуют приводимые здесь примеры, эти женщины вызывают сочувствие и сострадание:

“It’s a poor wurem, Mas’r Davy”, said Ham, “as is trod under foot by all the town. Up street and down street. The mowld o’ the churchyard don’t hold any that the folk shrink away from” (Dickens: The Personal History of David Copperfield). – **Это несчастная, пропадающая женщина**, мистер Дэви,.. в городе ее все презирают. От выхода из могилы так не шарахались бы, как шарахаются от нее, – проговорил Хэм (Диккенс: Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим).

«This piece of pollution, picked up from the water-side, to be made much of for an hour, and then tossed back to her original place!» (Ch. Dickens. The Personal History of David Copperfield). – **Грязная тварь**, которую подбирают на берегу, чтобы позабавиться на часок, а потом швыряют назад – туда, где она родилась (Ч. Диккенс. Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим).

Таким образом, в художественной картине Н. В. Гоголя и Ч. Диккенса зло несет общество, состоящее из развратных и аморальных людей, изменив природу которых, можно достичь чистоты и гармонии.

Бабник, волокита, распутник

В ходе исследования русских и английских единиц данной группы было установлено, что для них характерен такой способ этической отрицательной оценочности, как использование существительных – произво-

дных от глаголов с общим значением **волочиться, распутничать**: *волокита, волочуга* – волочиться; *wencher (to wench)* – распутничать; *womanizer (to womanize)* – распутничать; *philander (to philander)* – волочиться, развратничать; *spark (to spark)* – ухаживать, увиваться.

Анализ языкового материала свидетельствует о том, что среди русских единиц можно особо выделить группу номинантов со значением **волокита**, образованных от глагола **мигать, перемигиваться**: *замигуха* – волокита, девушка; *мельгун* – волокита; *мигала, мигун* – волокита; *моргач* – волокита.

Опираясь на наши наблюдения, можно утверждать, что для этой группы характерны единицы, в состав которых входит компонент **лицо женского пола**: *бабник, бабеня, бабей, баболуб* – разг. бабий угодник, волокита; *девичник* – девушка, девичий хвост; *забабеник* – волокита; *дамский угодник (любезник)* – разг. тот, кто любит ухаживать, волочиться за женщинами; *lady-killer* – соблазнитель; *Jack among the maids* – дамский угодник; *ladies' man* – волокита; *woman-chaser* – разг. бабник, распутник; *womanizer* – разг. распутник.

Образная коннотация представлена следующими компонентами:

- **литературными и мифологическими источниками** (*Don Juan* – обольститель, волокита; *Tom Jones* – привлекательный повеса; *gay Lothario* – ловелас; *satyr* – распутник, развратник);
- **зооморфизмами** (*мотыль* – ветреный, непостоянный человек, волокита; *lounge lizard* (ящерица) – сл. волокита; *wolf* (волк) – волокита; *goat* (козел) – похотливый человек);
- **соматизмами** (*дамский хвост* – устар. пренебр. волокита).

Таким образом, как свидетельствует исследуемый материал, главным способом переосмысления единиц номинации в микроконтексте в данной группе номинантов является буквализация действий.

В макроконтексте в произведениях Н. В. Гоголя данное свойство человеческой природы ярко представлено в контекстных приращенных значениях, в текстах же Ч. Диккенса данное качество не было зафиксировано.

Пьяница, любитель спиртного

Исходя из наших наблюдений, пьянство – один из порицаемых пороков как в русских, так и в английских анализируемых единицах. Осуждение данного поведения повлекло за собой выработку общих и специфических способов выражения отрицательной оценки.

Так, большинство единиц с семантикой **пьяница**, как демонстрируют приведенные ниже примеры, произошло от глаголов со значением

впитывать, поглощать, опрокидывать, много пить, наполнять водой: *дудыш, дудала* – питух, пьяница // *дудить* – пить много воды, квасу, браги; *заливоха, заливала* // *заливать* – обливать, окачивать, наводнять; *зырило, зыря* // *зырить* – пить хмельное, пьянствовать; *зюзя* // *зюкать* – клюкать, пить вино, упиваться; *клюкала, клюкальщик* // *клюкать* – хлебать через край, упиваться, пить; *каплюга* // *каплюжить* – сливать в кабаке капли, остатки из выпитой посуды, упиваясь этим; *swiller (to swill)* – жадно и много пить, напиваться; *tosspot (to toss)* – опрокидывать; *suckbottle (to suck)* – всасывать, впитывать; *soak (to soak)* – пропитывать; *sponge (to sponge)* – впитывать.

В процессе исследования выявлено, что еще одну группу составляют единицы, образованные от названий **спиртных напитков** либо от собирательного названия **выпивки**: *бражник* (брага) – домашнее пиво; *бузыга* (буза) – молодое пиво; *винопийца, винопьяница, винопропойца* (вино) – алкогольный напиток; *суся, суся* (суся) – пивной навар; *чихирь, чихирник* (чихирь) – горское вино; *boozer (booze)* – выпивка, спиртной напиток; *fuddler (fuddle)* – крепкий напиток; *tosspot (pot)* – выпивка; *swiper (swipes)* – пиво, портер; *winebag (wine)* – вино; *ale-knight (ale)* – эль, светлое пиво; *brandy face (brandy)* – коньяк, бренди; *malt worm (malt)* – солодовой напиток, пиво, эль.

Изучаемый материал наглядно демонстрирует также следующее: образность в английских номинантах группы **любитель спиртного** представлена **зооморфизмами и соматизмами**: *malt worm (червь)* – устар. пьяница; *cod (треска)* – пьяница; *drink hound (гончая)* – сл. пьяница; *juicehead (голова)* – прост. горький пьяница; *brandy face (лицо)* – пьяница; *elbow-crooker (локоть)* – разг. устар. пьянчужка.

Как свидетельствуют результаты анализа, в словообразовании единиц группы со значением **пьяница** в русском языке выделяется суффикс *-ыга-* (*булдыга, забулдыга, лотыга, тартыга, хабалыга, ярыга*); в английском *-er* (*boozer, fuddler, swiller, tippler, toper, soaker, sucker, fluffer, pegger, swiper, lusher*).

Исходя из наших наблюдений, в английском языке для усиления отрицательной оценочности служат **семьи частотности** (*habitually, often, usually*): *tippler* – someone who drinks (too much) alcohol habitually; *lusher* – a person who habitually drinks too much alcohol; *soak* – a person who is often or usually drunk.

Русским единицам свойственно наличие дополнительных значений: **гуляка, буян, лодырь, развратник, мот, шатун, мошенник**: *ерыга* – пьяница, шатун, мошенник; *лотыга* – мотишка, гуляка, лодырь,

забулдыга; *кутила* – разг. отчаянный пьяница, буйн, развратник; *булдыга* – гуляка, пьяница, буйн.

Функционирование свободных сочетаний, номинирующих пьяного человека в художественных текстах Н. В. Гоголя, указывает на существование данного порока у русского человека.

Подтверждением отрицательного отношения к пьяницам могут служить примеры следующего типа (6 единиц):

*Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был **пьяница страшный*** (Гоголь: Нос).

*Бурдюков. ...у нас в карабинерном полку был поручик, вот как две капли похож на вас! **Пьяница страшнейший*** (Гоголь: Тяжба).

Кроме того, прямой номинацией автор показывает низкое социальное положение человека-пьяницы:

*Какой-нибудь **забулдыга лакей** уже, верно, зевает перед ними...* (Гоголь: Портрет).

*...чтобы тебе **пьяный извозчик** въехал дышлом в самую глотку!* (Гоголь: Женитьба).

Опираясь на наши наблюдения, можно констатировать, что в произведениях Ч. Диккенса при номинации человека в свободных сочетаниях данное качество не было зафиксировано.

Анализ оценки морально-нравственных качеств в русских и английских единицах номинации в микро- и макроконтекстах (лексикографических источниках и художественных произведениях Н. В. Гоголя и Ч. Диккенса) привел к выделению наиболее нетерпимых и осуждаемых свойств языковой личности.

Через вербальные оценки происходит отражение языковой личности в лексико-семантической системе. Оценка является собственно человеческой категорией, касается человека и всего того, что каким-либо способом связано с ним, затрагивает его физическую, психическую и социальную сущность.

При анализе единиц номинации в микро- и макроконтекстах были выделены следующие способы выражения оценки:

- морфемно-словообразовательный, включающий в себя следующие способы словообразования: сложные слова, состоящие из двух основ, а также единицы, где по крайней мере один из компонентов является производной основой; аффиксация, несущая в себе в большинстве случаев отрицательную оценочность; конверсия, являющаяся одним из характерных способов словообразования в английском языке;

– лексический, заключающийся в выявлении лексико-семантических групп (зооморфизмы, соматизмы, мифические, сказочные, библейские образы); широкое использование слов-интенсификаторов и наличие дополнительных коннотаций;

– функционально-стилистический, отраженный в словарных пометах.

Номинанты – свободные сочетания, представленные в произведениях Н. В. Гоголя и Ч. Диккенса, отражая указанные положения, свидетельствует об общих тенденциях в описании национально-культурных особенностей внешнего и внутреннего мира человека в лексикографически обработанных источниках и в художественных произведениях.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

БОГУСЛАВСКИЙ, В. М. (1994): *Человек в зеркале русской культуры, литературы и языка*. М.: Космополис.

ГОГОЛЬ, Н. В. (1966–1968): *Собрание сочинений*: В 7 т. М.: Голитиздат.

ГУКОВСКИЙ, Г. А. (1959): *Реализм Гоголя*. М.; Л.: Государственное издательство художественной литературы.

ДАЛЬ, В. И. (1995): *Толковый словарь живого великорусского языка*: В 4 т. М.: ТЕРРА.

ДИККЕНС, Ч. (1957–1963): *Собрание сочинений*: В 30 т. М.: Государственное издательство художественной литературы.

ЕЛИСТРАТОВА, А. А. (1972): *Гоголь и проблема западноевропейского романа (поэма «Мертвые души»)*. Москва.

ИВАШЕВА, В. В. (1990): *«Век нынешний и век минувший...»*. Английский роман XIX века в его современном звучании. М.: Художественная литература.

КАТАРСКИЙ, И. М. (1966): *Диккенс в России. Середина XIX в.* М.: Наука.

КАТЕРМИНА, В. В. (1999): *Опыт коннотативного словаря русских и английских личных имен собственных*. Краснодар: Кубан. гос. ун-т.

КАТЕРМИНА, В. В. (2000): *Словарь образов-символов (на материале русского и английского языков)*. Краснодар: КубГУ.

КАТЕРМИНА, В. В. (2004): *Номинатив человека: национально-культурный аспект (на материале русского и английского языков)*. Краснодар: КубГУ.

КУНИН, А. В. (1984): *Англо-русский фразеологический словарь*. М.: Русский язык, 1984.

МАНН, Ю. В. (1988): *Поэтика Гоголя*. М.: Художественная литература.

МОЛОТКОВ, А. И. (1978): *Фразеологический словарь русского языка*. М.: Русский язык.

НЕРСЕЦОВА, М. А. (1957): *Творчество Ч. Диккенса*. М.: Знание.

СИЛЬМАН, Т. И. (1970): *Диккенс. Очерки творчества*. Л.: Художественная литература.

УИЛСОН, Э. (1975): *Мир Чарльза Диккенса*. М.: Прогресс.

УРНОВ, Д. М. (1988): *«Живое описание» (Гоголь и Диккенс) // Гоголь и мировая литература*. М.: Наука.

УШАКОВ, Д. Н. (1994): *Толковый словарь русского языка*: В 4 т. М.: Русские словари.

- COLLINS, V. H. (1960): *A Book of English Idioms*. Л.: Учпедгиз РСФСР.
- DICKENS, Ch. (2011): *The Complete Works of Charles Dickens (with commentary, plot summaries, and biography on Dickens)*: Delphi Classics.
- FREEMAN, W. (1982): *A Concise Dictionary of English Idioms*. London: Hodder a. Stoughton.
- WOOD, F. T., HILL, R. H. (1979): *Dictionary of English Colloquial Idioms*. London: MacMillan Press Ltd.

Профиль автора:

Катермина Вероника Викторовна, доктор филологических наук, профессор
Сфера научных интересов: лингвокультурология, неология, семантика, лексикография, художественный текст, номинация, антропонимика.

Россия

354000 Краснодар

ул. Ставропольская, 149,

ФГОУ ВПО «Кубанский государственный университет»

<http://www.kubsu.ru/>

katermina_v@mail.ru

ОКСАНА МИКОЛАЇВНА НАЗАРЕНКО

Україна, Одеса

КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ТЕКСТУ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

ABSTRACT:

Communication and pragmatic aspect of the political advertising text

The article analyzes the text in communicative and pragmatic aspect, including the detailed analyses of the political advertising text in mass media. The main methodological directions of textolinguistics, the peculiarities of the textual representation of communicative interaction between a speaker and a recipient have been analyzed. The types of addressee manifested in a political text have been defined. The pragmatic factors of mutual influence stressing the role of an addressee and an addresser in a communicative act have been disclosed. Lexical-semantic and syntactic markers of political advertising, that are considered to be one of the ways of representing an intratextual category of dialogism, and their role in speech influence on the recipient have been under study.

KEY WORDS:

Communicative and pragmatic aspect – political text – addresser – addressee – subject-textual interaction – communicative act – intratextual dialogism.

У сучасному мовознавстві особливу увагу науковців привертає комунікативно-прагматичний підхід до аналізу тексту, оскільки саме він уможливорює вивчення як його внутрішньотекстових особливостей, так і прагматичних настанов мовців, їхньої комунікативної взаємодії, зв'язків з іншими текстами в масовоінформаційній та культурно-літературній сферах, мовленнєвого впливу на адресата, що в цілому становить підґрунтя категорії діалогічності як сутнісної ознаки тексту [Назаренко 2012б: 1].

Метою цього дослідження є аналіз сучасної української політичної реклами в комунікативно-прагматичному аспекті.

Матеріалом дослідження стали різножанрові рекламні тексти, належні до періоду виборів народних депутатів України (2012 р.), а саме телевізійна реклама, передвиборчі промови та тексти українських газетних видань «Дзеркало тижня» (ДТ), «День» (Д), «Кримська світлиця» (КС), «Сіверщина» (С), «Українське слово» (УС).

Перехід від аналізу окремих речень як конститuentів тексту до цілісного текстового утворення було пов'язане з виокремленням комунікативно-прагматичної парадигми [Алефиренко 2005: 19]. В українському мовознавстві цей етап представлений працями [Кухаренко 2004], [Лосева 1980], [Колегаева 1991], у яких аналіз здійснено на матеріалі російської та германських мов.

О. С. Кубрякова вважає, що «текст завжди необхідно розглядати як підсумок мисленнєворозумової діяльності його творця, який уособлює особливий задум у його скерованості на певного слухача/читача» [Кубрякова 2001: 74], підкреслюючи комунікативну природу тексту та його роль як посередника між мовцем і реципієнтом, тобто інтенціональність тексту, його прагматичну настанову. Саме таке тлумачення тексту надає змогу виявити в ньому ознаки діалогічності, зумовлені комунікативно-прагматичною природою з огляду на те, що «мова, текст і дискурс мають одну – діалогічну – природу» [Плеханова 2011: 79].

Діалогічну орієнтацію тексту як його провідний чинник підкреслюють більшість сучасних дослідників. Так, А. К. Мойсієнко зазначає: «Сприймаючи текст як специфічну мовну реальність, варто розглянути його як не менш специфічний процес, що протікає між свідомістю того, хто творить, і свідомістю того, хто сприймає» [Мойсієнко 1996: 22]. Зважаючи на таке тлумачення тексту, можна розглядати його як діалог між свідомостями комунікантів: текст виступає посередником між суб'єктами комунікації, між їхніми картинами світу, світосприйняттям і світоуявленням. Проте комунікативно-прагматичний підхід є ширшим, він ураховує не тільки діалогічну взаємодію свідомостей комунікантів, а й комунікативні чинники цієї взаємодії: «...в комунікативному аспекті вихідним є положення про те, що текст зберігає у собі інформацію не тільки про фрагмент картини світу, а й про комунікативну ситуацію, яка йому відповідає як засобові комунікації» [Радзівєвська 1999: 8]. Переважна більшість дослідників зважає на подвійну природу тексту як об'єкта дослідження лінгвістики, виокремлюючи денотативний і комунікативний компоненти. Здебільшого ці два компоненти стають основою для дефініції тексту: текст – це «мовленнєвий твір, концептуально зумовлений (тобто

має концепт, ідею) і комунікативно орієнтований у межах певної сфери спілкування, має інформативно-смыслову та прагматичну сутність (вона може бути й нульовою)» [Болотнова 2007: 104]; текст – «продукт творчої та мовної діяльності автора, спрямованої на втілення авторського задуму – експліцитно-імпліцитного відображення реальної або частково (чи повністю) вигаданої дійсності, який естетично втілюється і викликає у читача інтелектуальні та емоційну реакції» [Серажим 2008: 14].

Багатоаспектність тексту як предмета вивчення лінгвістичної науки уможливорює наявність різних аспектів його дослідження. Ми розглянемо комунікативний підхід, який зумовив вивчення тексту як комунікативної системи, актуалізацію ролі адресанта та адресата.

Відповідно до аспектів дослідження тексту в лінгвістиці сформувалися основні методологічні напрями текстолінгвістики, які О. О. Селіванова, враховуючи традиційні та новітні лінгвістичні методології, визначає в такий спосіб: структурно-граматичний, текстової семантики, комунікативно-прагматичний, семіотичний, лінгвокультурологічний та етнолінгвістичний, когнітивний, прикладний [Селіванова 2008: 485–490].

Комунікативно-прагматичний напрям пов'язаний з розробкою проблеми комунікативного моделювання тексту, вивченням категорій мовця та реципієнта, актуалізацією комунікативних аспектів у вивченні тексту, з початком аналізу дискурсу у співвідношенні з текстом і започаткуванням дискурсології як окремої лінгвістичної галузі. Цей напрям зумовив появу прагматики тексту, представниками якої є Т. А. ван Дейк, А. М. Баранов, І. М. Колегаєва, О. П. Воробйова, Є. В. Сидоров, О. О. Селіванова, Г. Г. Почепцов, О. Л. Каменська, Т. В. Радзівська та ін.

Як тільки інтерес фахівців було зосереджено на людині та її ролі в комунікації, текст почали розглядати як один з компонентів комунікативного акту. Не заглиблюючись у специфіку різноманітних моделей комунікації (про це див.: [Селіванова 2011: 156–187], зазначимо, що інваріантними компонентами всіх без винятку моделей є три: адресант (мовець, продуцент, джерело інформації тощо), адресат (отримувач, місце призначення) та повідомлення. Комунікативно орієнтований підхід зумовив вивчення взаємодії мовця та реципієнта як конститuentів акту спілкування, що уможливорює врахування прагматичного чинника текстової комунікації. Розвиток лінгвістичної прагматики, предметом вивчення якої Ф. С. Бацевич вважає «категорію суб'єктивності» та її вияви у «Мові, Мовленні й Мовленнєвій діяльності (Комунікації, Спілкуванні)» [Бацевич 2010: 10], активізував лінгвістичні дослідження учасників комунікативної взаємодії – мовця та реципієнта – в сукупності

з текстом як результатом і процесом комунікації. Така комунікативна взаємодія має діалогічну природу і відповідає двом умовам: по-перше, ознакою будь-якого висловлення є його зверненість, адресованість, тобто без слухача немає й мовця, без адресата немає й адресанта»; по-друге, кожне «конкретне висловлення набуває змісту лише в контексті» [Маслова 2008: 12]. Зважаючи на це, текст постає як компонент комунікативного акту, що визначає не лише його результат, а й процес.

Для вивчення тексту одним із перших завдань є визначення функціонального навантаження тексту. Для рекламного тексту основними функціями є: комунікативна; інформативна; прагматична; експресивна; естетична. Ю. В. Сивак зазначає, що політична реклама – це форма ідейного впливу на масового адресата з метою спонукання до голосування на користь конкретного індивідуального або колективного політичного діяча [Сивак 2007: 6–7]. Текст політичної реклами має єдину комунікативно-прагматичну мету – керування політичною поведінкою електорату шляхом подання необхідної інформації.

Українська дослідниця Н. В. Кондратенко виокремлює форми політичного дискурсу залежно від формальних, комунікативних, інтенціональних та інших чинників. Вона вирізняє політичний дискурс за формою («усний та писемний»), за чинником мовця («адресантно прямий та опосередкований»), за метою («інформативний, спонукальний, іміджевий, мотиваційний, експресивний»), за чинником адресата («особисто та масово адресований»), за сферою функціонування («телевізійний, газетно-журнальний, радіо-рекламний, PR») [Кондратенко 2007: 2–13].

У комунікативному акті беруть участь два комуніканти. О. О. Селіванова вважає комуніканта найважливішим складником комунікативної ситуації та визначає як «особистість, суб'єкт комунікативного акту, що здійснює передачу інформації або комунікативний вплив чи сприймає та інтерпретує їх» [Селіванова 2011: 100]. Суб'єкти мовлення та сприйняття становлять основні компоненти комунікативної взаємодії, що пов'язані з прагматичним аспектом вивчення вербальної комунікації та тексту. Прагмалінгвістичне дослідження тексту насамперед орієнтовано, з одного боку, «на виявлення особливостей авторської присутності» [Седов 2004: 30], а з іншого – на реципієнта. Лінгвісти розрізняють двох комунікантів за основними функціями, які вони виконують у комунікативному акті, – це адресант та адресат. Адресант – це комунікант, який «породжує висловлення, тобто мовець або автор тексту» [Селіванова 2011: 14], його вважають активним учасником комунікативного акту, тому що саме адресант ініціює спілкування і регулює його темати-

ку й прагматичне наповнення, інтенційність комунікативної взаємодії задається саме адресантом.

З огляду на це, адресант виступає ініціатором комунікації, породжує текст, скеровує повідомлення на співрозмовника – адресата. Комунікативна суб'єктно-об'єктна взаємодія обох учасників породжує категорію інтерактивності, яку О. О. Селіванова визначає як текстово-дискурсивну, лінгвістичним підґрунтям якої є «мовленнева система, метою якої слугує реалізоване спілкування» [Селіванова 2002: 234]. Чинник адресанта безпосередньо пов'язаний із суб'єктивною модальністю, що «нашаровується на основну модальну кваліфікацію» та «створює додаткову модальну інтерпретацію висловлень» [Вихованець 2000б: 338]. Суб'єктивна модальність «може реалізуватися за допомогою різних лексичних (вставних слів, модальних часток, вигуків) і нелексичних (інтонації, порядку слів або особливих синтаксичних конструкцій) засобів» [Загнітко 2008: 120]. Ф. С. Бацевич тлумачить суб'єктивну модальність як «факультативний семантико-прагматичний чинник комунікативної ситуації й спілкування загалом, який реалізується як низка різноманітних відношень адресанта (мовця, автора) до повідомлюваного», джерелом якого є «оцінка, її суб'єктом є мовець, об'єктом – різні аспекти відношення змісту комунікативних одиниць до дійсності, засобами – мовні одиниці, категорії...» [Бацевич 2010: 191].

Адресант формує суб'єктивно-модальну семантику тексту в результаті комунікативної взаємодії. Ф. С. Бацевич визначає типи модальних семантико-прагматичних смислів, які формує мовець у межах комунікативної взаємодії:

1. Вираження мовцем оцінки з позиції реальності/нереальності того, про що йдеться у тексті.
2. Оцінка з позицій можливості, необхідності чи бажаності того, про що йдеться в повідомленні.
3. Оцінка міри впевненості адресанта в достовірності сказаного.
4. Цільова установка автора повідомлення, згідно з якою виділяють розповідні, питальні й оптативні речення.
5. Значення ствердження/заперечення щодо існування об'єктивних зв'язків, ознак, подій тощо.
6. Суто мовними видами модальності можна вважати суб'єктивну й комунікативну негацію [Бацевич 2010: 192–193].

Адресанта традиційно вважають ініціатором спілкування, а в разі письмової форми комунікації – основним суб'єктом комунікативного акту, який визначає напрям комунікації, продукує мовлення, адресує його

співрозмовнику. Лінгвісти розрізняють різні типи адресантів: О. О. Селіванова виокремлює такі типи адресантів у тексті: колективний адресант – два автори тексту або колектив авторів; невідомий адресант – зумовлений часовою віддаленістю режимів породження й інтерпретації; неактуальний адресант – дискурсивна локація обмежується автором-функцією й не потребує конкретної авторської актуалізації; узагальнений адресант – автор-функція співвідноситься з колективним носієм етнічної свідомості [Селіванова 2008: 512].

Експлікація позиції адресанта в газетному тексті часто супроводжується посиленням внутрішньої діалогічності тексту, коли автор вказує на близькі стосунки з текстовим адресатом, напр.:

«Ти почувеш зовсім іншого, нового президента!» – змовницьки підморгуючи, по секрету повідомив мені знайомий нардеп-регіонал у четвер вранці, напередодні виступу Януковича в парламенті... (ДТ. №13.2011).

Наведення цитати з розмови з адресатом посилює діалогічність тексту, в якому вказівкою на близькі стосунки автора й адресата є звернення на «ти», яке передбачає неофіційне спілкування. Близькі стосунки задають і неформальний тип розмови, подання якої в газетному матеріалі зумовлює інтимізацію тексту, домінування чинника адресанта.

Внутрішньотекстову діалогічність яскраво виражено як постійну цитату та посилання на думку адресата мовлення. Такий спосіб організації внутрішньо діалогічного політичного тексту характерний, коли текст репрезентує імпліцитну діалогічність, яка виявляється через перехресні посилання та цитування різних джерел, напр.:

Указ царя Олексія. Про спалення українських книг. **Указ Петра I.** Про заборону рукописів українською мовою. **Валуєвський циркуляр.** Української мови не було, немає і бути не може. **Указ Миколи II.** Про заборону української преси. **Постанова пленуму ЦК.** Про перехід українських шкіл на російську. Але українці **зберегли** рідну мову і вони **захистять** її сьогодні, адже мова – це запорука державності. **Захисти** мову – **збережи** Україну! Українці за «Нашу Україну» (Трансльовано в ефірі загальнонаціонального телевізійного каналу «1+1» протягом передвиборної кампанії 2012 року).

У цьому тексті завдяки кільком посиланням на джерела інформації та цитування документів повною мірою маніфестована категорія діалогічності. Автор зазначає всі джерела інформації, їхні комунікативні позиції та передає як непряме мовлення їхні думки, використовуючи цитування. На нашу думку, такий тип діалогічної взаємодії може бути реалізований з маніпулятивною метою, оскільки передбачає вибіркове подання інформації, отриманої в результаті комунікативної взаємодії.

Наявність у другій частині політичного тексту трьох прагматично актуалізованих речень посилює його впливову функцію: переконує адресата в необхідності виконання наступного спонування. З метою мовленевого впливу на адресата використано і граматичні дієслівні форми.

Чинник адресанта може бути виражений узагальнено, за допомогою граматичних форм першої особи множини дієслова та відповідних займенникових форм – *ми, наш*. У цьому разі маємо колективного адресанта, в який об'єднано різних осіб разом із безпосереднім автором тексту, тобто автор виступає не лише від власного імені, а й від імені своїх однодумців, спільників, друзів тощо, тому адресант стає узагальненим. Найпоширенішими варіантами такого об'єднання, на нашу думку, є два: по-перше, це узагальнений адресант – автор і внутрішньотекстові суб'єкти, а по-друге, це об'єднання автора з читачем, адресант нібито виступає не лише як суб'єкт мовлення, а й як адресат, він орієнтується на позицію читача, намагається врахувати «горизонт очікування» адресата [Назаренко 2012а: 200–201].

Внутрішній узагальнений адресат передбачає об'єднання кількох суб'єктів, серед яких домінує автор. Він розповідає про події від власного імені, але внутрішньотекстовими суб'єктами в цьому фрагменті є не одна людина, а група людей, тому мовець й уникає суб'єктивних оцінок і подає інформацію узагальнено. Такий тип адресанта зумовлений прагненням дистанціюватися від описаних подій, автор підкреслює полісуб'єктність ситуації, хоч саме він її описує. Насамперед цей тип адресата зустрічається в текстах, де автор виступає одним з активних діячів у складі певної групи осіб, тому й підкреслює колективність описаних дій.

Більш частотним типом узагальненого адресата є об'єднання автора з адресатом-читачем, останній може бути по-різному маніфестований у тексті, передусім за допомогою виключно граматичних засобів, напр.:

Час настав! Час змін! **Ми починаємо бій**. Бій за Україну. Бій за нашу гідність. **Кожен голос, дія кожного** є вирішальними. **Кожен, хто** хоче гідного і забезпеченого майбутнього для себе і своїх дітей, здобутого чесною працею – **наш союзник**. **Ми повинні разом** завдати удару по корупції, безвідповідальності, бездарності... **Ми розраховуємо на вашу довіру і не дозволимо** підірвати **нашу** репутацію. **Ми готові** нести відповідальність за перетворення, необхідні для країни. **Ми повинні** виграти цьогорічні парламентські вибори. Для перемоги важлива участь **кожного**. **Не віддавайте своє** майбутнє в обмін на подачки, оплачені з вашої ж кишені. **Прийдіть на вибори і проголосуйте** за країну, яку не соромно залишати своїм дітям. **Разом – ми здатні** змінити країну! (Промова В. Кличка на XI з'їзді політичної партії «УДАР» 28.04.2012 р.).

Узагальнення автора та читача відбувається не як штучне поєднання суб'єкта мовлення (автора) та реального або потенційного читача, а як позиціонування автора як одного з-поміж звичайних читачів, як такого ж суб'єкта, як і всі реципієнти. Автор не протиставляє себе читачам навіть у комунікативному акті, а підкреслює тотожність комунікативних позицій адресанта й адресата як учасників комунікативного акту.

У цьому разі займенник «ми» вказує на ототожнення автора з потенційними читачами й окреслює коло суб'єктів, що узагальнено в тексті, напр.:

Для оновлення політики **нам**, українцям, потрібно усвідомити: політика – справа кожного. Доки її роблять лише міністри, чиновники та депутати – країна прямуватиме у прірву. **Ми** здатні зробити **нашу** Україну успішною. Бо тільки від **нашого** успіху залежить **наше** спільне майбутнє в успішній державі! (Промова В. Кличка на XI з'їзді політичної партії «УДАР» 28.04.2012 року).

Мовець об'єднує себе і потенційних читачів, він не звертається до читачів, відокремлюючи себе від них, а навпаки – виступає від імені узагальненого адресанта. Автор одночасно виступає в активній комунікативній позиції, апелюючи до адресатів, і разом з тим висловлюється як колективний адресант, переходить на бік адресатів повідомлення, тобто він певною мірою поєднує функції адресанта та адресата. Такий прийом орієнтований на діалогічність тексту, тому що адресант, продукуючи мовлення, насамперед актуалізує чинник адресата.

Адресат може бути і не зазначений у тексті, а лише поданий узагальнено з автором, тобто мовець не відокремлює себе від читачів, а об'єднує себе з ними, напр.:

Можливо, це збіг обставин, **можливо**, закономірність. Але факт – кепкування польських парламентаріїв щодо «багатоверстатного» голосування **наших** нардепів стимулювало їх «заворухитися» (Д. №41.2011).

У цьому текстовому фрагменті чинник адресанта виражається за допомогою суб'єктивно-модальних засобів – вставних слів модальної семантики, а словосполучення «наших нардепів» вказує на політичну тематику, тобто передає семантику об'єднання за параметром політичного характеру: всі громадяни країни мають одних народних депутатів, тому вони і є адресатами цього газетного повідомлення. Автор також належить до українських громадян, тому й підкреслює свою спільність із читачами, бо описані проблеми стосуються його безпосередньо. Проте обрана форма множини створює ефект діалогічності та вказує на небайдужість мовця до описаної ситуації.

Загалом використання займенників першої особи множини і відповідних дієслівних форм є одним із способів репрезентації внутрішньотекстової діалогічності з огляду на те, що автор враховує чинник адресата як основний у тексті, об'єднує себе з адресатом, орієнтується на «горизонт очікування» та узагальнює себе з адресатом.

Чинник адресованості тексту лінгвісти тлумачать як «прагнення мовця до адекватного розуміння адресатом мовленнєвого твору» [Седов 2004: 30–31]. Позиція адресата, на перший погляд, здається другорядною стосовно адресанта, оскільки він сприймає мовлення, породжене адресантом, інтерпретуючи зміст. Адресат, на думку А. П. Загнітка, «проходить шлях від засобів вираження – до думки» [Загнітко 2007: 53], це «один із комунікантів, на якого спрямовано й розраховано мовленнєву дію того, хто породжує висловлення, тобто співрозмовник або читач, реципієнт повідомлення» [Селіванова 2011: 16]. Однак останнім часом позицію адресата вважають так само активною, як і позицію адресанта, завдяки здатності адресата не лише розпізнавати інтенції мовця, а й додавати до повідомлення нової семантики.

Українська дослідниця текстової категорії адресатності О. П. Воробйова, аналізуючи художню комунікацію, виокремлює такі типи адресатів: реальний (емпіричний) читач; уявний, потенційний читач, що втілює модель ідеального читача відповідно до конкретного тексту; текстовий читач поєднує образ ідеального читача та образ фіктивного читача [Воробьева 1993: 106–107]. У тексті політичної реклами розрізняють два основні типи адресатів – поліадресант, який вирішує комунікативні завдання (привертання уваги, інформування, зацікавлення адресата, його переконання та зміна його політичних уподобань), задає прагматичну настанову тексту і характеризується рекламною компетенцією; 2) масовий адресат-архічитач, який володіє мовою, має лінгвістичну і прагматичну компетенції [Сивак 2007: 4–5].

Складність і багатошаровість адресата тексту політичної реклами визначена специфікою масової комунікації. У дослідженнях масової комунікації адресата називають масовим адресатом, а «знайти спільну мову з масовим адресатом – означає виявити готовність до використання стандарту, виробленого для досягнення цілей, що об'єднують певні різновиди суспільно значущих мовленнєвих сфер» [Винокур 1993: 63]. Такий масовий адресат передбачає узагальнене, збірне, колективне уявлення про отримувача повідомлення, зважаючи на що важко прогнозувати реакцію адресата на текст.

У політичному тексті частим є безпосереднє звернення до читачів, що посилює внутрішньотекстову діалогічність. Чинник адресата має

експліцитне вираження – за допомогою звертання й використання кличного відмінка автор апелює безпосередньо до читачів. У цьому разі текстова комунікація представлена повною мірою: автор моделює діалог з читачем у тексті, тому текст побудований як розмова, він містить окремі розширені репліки мовця, звернені до адресата, міркування автора й апеляцію до думок співрозмовника. Такий прийом характерний для масової та художньої комунікації. Моделювання розмови з уявним або потенційним читачем пов'язане з експлікацією діалогічності тексту, адресант орієнтується на «горизонт очікування» реципієнта, що й підкреслено діалогічною формою тексту

Діалог з читачем у тексті ще більше інтимізує таку комунікативну взаємодію, зважаючи на те, що це вже не стільки розмова з масовою аудиторією, скільки з кожним читачем окремо, напр.:

Це дуже політичне питання для країни й дуже філософське. Якщо в дитинстві **ти розбив** шибку, то **чи маєш ти, читачу, право зробити** щось шляхетне подорослішавши, скажімо, перевести бабусю через дорогу? Багато хто вважає, що **не маєш**. І дуже мало хто вважає навпаки... І тут **я, перепрошую, дорогий читачу**, подумав, що відповіді на запитання: чому в усьому винна саме Юлія Тимошенко – у природі не існує (ДТ. №4.2011).

Адресант максимально суб'єктивно висловлюється та оцінює події, моделюючи діалогічну взаємодію з читачем. Через використання форми другої особи однини *ти* діалог сприймається як розмова між близькими людьми, що не потребує додаткових форм ввічливості.

Адресати в газетному тексті, якими можуть виступати як реальні читачі, так і внутрішньотекстові суб'єкти, мають специфічні мовні засоби вираження, серед яких основну роль відіграють звертання, спонукальні та питальні синтаксичні конструкції.

Звертання безпосередньо вказує на адресата мовлення, вказуючи його в тексті, це «інтонаційно виділений компонент речення, що називає істоти, до яких адресовано мовлення» [Вихованець 2000а: 184]. В українській мові звертання має особливий граматичний спосіб вираження – кличний відмінок – і найчастіше використовується у спонукальних синтаксичних конструкціях та питальних реченнях прямої питальності. У газетному тексті політичної тематики звертання часто вживають в основному тексті та заголовках, представлених спонукальними реченнями, напр.:

Почуй, **владо!**.. (Д. №202–203. 2010);

Українці, обираймо українську владу! (УС. №42.2010);

Країно, не пропусти розмову з собою (КС. №4. 2011);

Українці, не дайте себе купити! (КС. №2. 2010).

Реальним адресатом у цьому випадку залишається читач, а в звертанні адресат не завжди вказує на внутрішніх суб'єктів мовлення, хоча й окреслює їхнє тематичне коло. Узагальнені адресати – напр., *українці, країно* – апелюють до реального адресата-читача, а інші звертання переважно маніфестують риторичність, але не спонукають до дії суб'єктів, зазначених у тексті.

Спонукування у тексті політичної реклами необов'язково містить звертання, воно може бути представлене означено-особовими реченнями, адресованими читачам, напр.:

Наша Україна – це квітуча країна з мовою, яку за красу та милозвучність називають солов'їною, але сьогодні нашу мову хочуть витіснити та знищити. Ворожість та визнання! Без української мови не буде української держави! **Не дай занепасти нашу мову! Зупини її ворогів! Захисти солов'їну! Збережи Україну!** Українці за «Нашу Україну!» (Трансльовано в ефірі загальнонаціонального телевізійного каналу «1+1» протягом передвиборної кампанії 2012 року).

Спонукальні синтаксичні конструкції в данному випадку також експлікують чинник адресата, хоч і не вказують на нього безпосередньо, як речення зі звертаннями, через що їх сприймають як адресовані масовому адресату безпосередньо. Автор у таких заголовках апелює до читачів, спонукає їх проголосувати на його користь, створює ефект діалогічної взаємодії з потенційними читачами.

Звертання позначає реального адресата тексту – масового адресата-читача, найменування якого може бути різним. Апеляція до масового адресата наявна в тексті в експліцитному або імпліцитному вигляді, а звертання опосередковано уможливорює його експлікацію. Автор може використати у звертанні лексеми *читач, читачі* або інші, що вказують на уявного читача й узагальнюють читацьку аудиторію.

Наявність звертання в монологічному авторському мовленні актуалізує чинник адресата як внутрішньотекстового суб'єкта мовлення здебільшого риторичного характеру. Найяскравішою ілюстрацією такого звертання є апеляція до нададресата, традиційна для тексту молитви, напр.:

Царю небесний, не карай Україну! Не карай українців горезвісними президентами. Український народ є добрий, щирий, розумний, талановитий, працелюбний, любить бути господарем на своїй землі у своїй державі. За що ж його карати? **Дорогі українці, громадяни України** – не карайте самі себе! (С.28.01.2011).

Стилізація молитви в цьому фрагменті газетного тексту зумовлює вживання звертання до Бога зі спонукальними реченнями з прагматичним

значенням прохання. Автор одночасно звертається до нададресата та до своїх співвітчизників-читачів, реалізуючи категорію діалогічності.

Проте основною формою репрезентації внутрішньої діалогічності в політичному тексті є питально-відповідна, що може бути реалізована двома способами – монологічним і діалогічним. У монологічному мовленні і питання, і відповіді продукуються автором, який самостійно ставить запитання та на них відповідає, напр.:

Чия земля? Чия мова? Чия власність? Чия влада? Чи є майбутнє?

Рука не здригнеться змінити все на користь українців. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» (Трансльовано в ефірі загальнонаціонального телевізійного каналу «1+1» протягом передвиборної кампанії 2012 року).

Низка питальних речень у тексті провокують автора та читачів до роздумів, а наступний текст містить авторську спробу відповісти на ці проблемні питання. Адресант одночасно адресує ці питання собі та читачам, він актуалізує категорію діалогічності в тексті, підкреслюючи комунікативну ситуацію діалогічної взаємодії між адресантом (автором) та адресатом (читачами). У цьому тексті немає традиційних діалогічних єдностей, у яких на кожне запитання подають відповідь, а кожний наступний семантичний блок детермінований попереднім, тому що на декілька подібних між собою запитань надана одна відповідь.

Однак монологічне мовлення може бути побудовано і як комплекс питально-відповідних блоків. Автор ставить конкретні запитання, на які й відповідає, при цьому надає тексту традиційної діалогічної форми, тобто запитання не риторичного характеру, вони потребують відповіді. Інформацію, наявну в тексті, можна було б репрезентувати і в інший спосіб, не використовуючи діалогічні єдності, але цей спосіб активізує чинник адресата, підкреслюючи внутрішню діалогічність тексту.

Комунікативно-прагматичний підхід визначає ракурс сучасних наукових розвідок тексту, в тому числі й політичного, уможливорює врахування екстралінгвальних чинників під час аналізу тексту, дає змогу виявити впливовий потенціал суб'єктів мовлення та реакцію адресатів. Дослідження комунікативно-прагматичного аспекту тексту скероване на поглиблене вивчення ролі адресанта й адресата в мовленнєвій взаємодії. Текст у комунікативно-прагматичному аспекті тлумачать як компонент мовленнєвого акту й необхідний складник комунікативної взаємодії мовця та реципієнта. Взаємодія між комунікантами в тексті політичної реклами відбувається за рахунок рекламного повідомлення, що характеризується єдністю локуції, ілокуції та перлокуції. Тексти політичної реклами, як зауважує Ю. В. Сивак, є прагматичними за змістом, що обумовлене комунікативною метою адресанта. Прагматична

настанова мовця реалізується через уживання необхідних стратегій і тактик впливу на реципієнта і обумовлена контекстом спілкування. Параметри експресивності та оцінки пов'язані між собою спільною метою – здійснити емоційний вплив на адресата, що свідчить про їх прагматичний характер [Сивак 2007: 6].

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

- АЛЕФИРЕНКО, Н. Ф. (2005): *Современные проблемы науки о языке: учебное пособие*. Москва: Флинта: Наука.
- БАЦЕВИЧ, Ф. С. (2010): *Нариси з лінгвістичної прагматики: монографія*. Львів: ПАІС.
- БОЛОТНОВА, Н. С. (2007): *Филологический анализ текста: учебное пособие* [3-е изд., испр. и доп.]. Москва: Флинта: Наука.
- ВИНОКУР, Т. Г. (1993): *Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения*. Москва: Наука.
- ВИХОВАНЕЦЬ, І. Р. (2000а): *Звертання. Українська мова: Енциклопедія*. Київ: Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана.
- ВИХОВАНЕЦЬ, І. Р. (2000б): *Модальність. Українська мова: Енциклопедія*. Київ: Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана.
- ВОРОБЬЄВА, О. П. (1993): *Текстовые категории и фактор адресата: монография*. Київ: Вища школа.
- ЗАГНІТКО, А. П. (2008): *Теорія сучасного синтаксису: монографія*. [Вид.3-тє, випр. і доп.]. Донецьк: ДонНУ.
- ЗАГНІТКО, А. П. (2007): *Лінгвістика тексту: теорія і практикум: науково-навчальний посібник*. Донецьк: Юго-Восток.
- КОЛЕГАЄВА, И. М. (1991): *Текст как единица научной и художественной коммуникации*. Одесса: ОГУ им. И. И. Мечникова.
- КОНДРАТЕНКО, Н. В. (2007): *Український політичний дискурс: монографія*. Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Одеса: Чорномор'я.
- КУБРЯКОВА, Е. С. (2001): *О тексте и критериях его определения. Текст. Структура и семантика*. Т. 1. Москва.
- КУХАРЕНКО, В. А. (2004): *Інтерпретація тексту: підручник для студентів старших курсів філологічних спеціальностей*. Вінниця: Нова книга.
- ЛОСЕВА, Л. М. (1980): *Как строится текст*. Москва: Просвещение.
- МАСЛОВА, А. Ю. (2008): *Введение в прагмалингвистику: учебное пособие*. Москва: Флинта: Наука.
- МОЙСІЄНКО, А. К. (1996): *Текст як аперцепційна система*. Мовознавство. № 5, с. 20–25.
- НАЗАРЕНКО, О. М. (2012а): *Комунікативна діяльність адресанта в репрезентації текстової категорії діалогічності*. Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства. Одеса: Астропринт.
- НАЗАРЕНКО, О. М. (2012б): *Реалізація категорії діалогічності в сучасному українському газетному тексті*: автореф. дис. канд. філол. наук. Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Одеса.

- ПЛЕХАНОВА, Т. Ф. (2011): *Дискурс-анализ текста: пособие для студентов вузов*. Минск: ТетраСистемс.
- РАДЗИЄВСЬКА, Т. В. (1999): *Комунікативно-прагматичні аспекти текстотворення*: автореф. дис. докт. філол. наук. Київ.
- СЕДОВ, К. Ф. (2004): *Дискурс и личность: Эволюция коммуникативной компетенции*. Москва: Лабиринт.
- СЕЛИВАНОВА, Е. А. (2002): *Основы лингвистической теории текста и коммуникации: монографическое учебное пособие*. Київ. ЦУЛ, «Фитосоциоцентр».
- СЕЛІВАНОВА, О. О. (2008): *Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник*. Полтава: Довкілля-К.
- СЕЛІВАНОВА, О. О. (2011): *Основы теории мовної комунікації: підручник*. Черкаси: Видавництво Чебаненко Ю. А.
- СЕРАЖИМ, К. С. (2008): *Текстознавство: підручник*. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет».
- СИВАК, Ю. В. (2007): *Політична реклама у французьких засобах масової інформації: прагмакомунікативний та жанровий аспекти*: автореф. дис... канд. філол. наук. Київ.

ПРОФІЛЬ АВТОРА:

Назаренко Оксана Миколаївна, кандидат філологічних наук
кафедра загальних дисциплін та мовної підготовки іноземних громадян, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Сфера наукових інтересів: лінгвістика тексту, лінгвопрагматика, лінгвостилістика, комунікативна лінгвістика.

Україна

65020 м. Одеса

вул. Старопортофранківська, 26.

<http://pdpu.edu.ua>

ksuniko01@mail.ru

М. А. Кронгауз: *Самоучитель олбанского*. Москва: АСТ: CORPUS, 2013. 416 с. ISBN 978-5-17-077807-2.

В 2013 году в издательстве «АСТ» выходит книга М. А. Кронгауза «*Самоучитель олбанского*», продолжающая серию его монографий об актуальных явлениях и процессах, происходящих в современном русском языке. М. А. Кронгауз – известный российский лингвист, доктор филологических наук, профессор, автор множества работ, среди которых и адресованные специалистам (*Приставки и глаголы в русском языке: семантическая грамматика*. М.: 1998; *Семантика*. М.: 2005), и ориентированные на широкий круг читателей, ставшие бестселлерами работы «*Русский язык на грани нервного срыва*» (М.: 2007), «*Русский язык на грани нервного срыва. 3D*» (М.: 2012).

Структурно рецензируемая работа представлена тремя частями, каждая из которых включает в себя несколько глав. В «Предисловии» и разделе «Оговорки, предупреждения и основные источники» автор сразу заявляет об особенностях исследования интернета, таких как актуальность информации и скорость ее изменения, сложность цитирования интернет-источников и неопределенность читательской аудитории, для которой и написана данная работа. Там же М. А. Кронгауз перечисляет наиболее важные источники (платформа блогов livejournal.com, сетевые энциклопедии, сетевые словари) и инструменты лингвистического исследования интернета (Google Ngram Viewer и др.), послужившие основой для написания его книги.

Первая часть, озаглавленная «Об олбанском языке, “падонках” и играх с орфографией», связана с рассмотрением различных языковых особенностей сетевой коммуникации. М. А. Кронгауз использует возникшее в Рунете сочетание «олбанский язык», понимая его как специфический русский язык, используемый в интернете. При этом автор отграничивает его от других «языков», которые ассоциируются только с одной определенной сетевой субкультурой (например, «языка падон-

ков», «языка кашенитов» и др.), подчеркивая при этом то, что данная граница размыта и до сих пор «не очень понятно, где заканчивается язык падонков и начинается просто язык разговорного Интернета», обозначенный автором как олбанский.

Довольно подробно рассмотрены истории возникновения и характерные особенности языков упомянутых выше субкультур. С опорой на данные различных сайтов (автор в начале книги сразу заявляет о своей позиции – написать об интернете, пользуясь только интернетом) излагаются основы творческого метода и языковые особенности жаргона падонков (игры с орфографией (орфоарт), обилие ненормативной лексики, клишированность). М. А. Кронгауз не считает лингвистические особенности языка данной субкультуры уникальными, приводя различные примеры из истории русского языка (язык писем князя С. Оболенского, «заумь» футуристов В. Хлебникова и А. Крученых, творчество авангардиста И. М. Зданевича, языковые игры ученых и т.д.). Принципиальные различия же автор видит в том, что, например, игры ученых (*озперанд* – *аспирант*) являются играми с орфографией по строгим правилам, имеющими очень ограниченное использование, а орфоарт жаргона падонков (*аццкий*, *аффтар*) обслуживает реальную коммуникацию, где трудно придерживаться определенных правил (или скорее «антиправил»). В связи с орфоартом в работе обсуждается вопрос о том, чем он является: неграмотностью, безграмотностью или антиграмотностью. По мнению автора, жаргон падонков основан именно на антиграмотности (последовательном и сознательном отрицании грамотности при владении правилами). Автор обращает внимание на тот факт, что в реальной интернет-коммуникации переплетаются и неграмотность, и антиграмотность, при этом именно последняя является идеологически ценной для формирования конкретного жаргона.

Особое внимание в данном разделе книги автор акцентирует и на принципиальном для исследования языка интернета вопросе соотношения устной и письменной коммуникации. Рассматривая историю их сосуществования, М. А. Кронгауз говорит о сложившемся противопоставлении устной и письменной форм коммуникации по целому ряду критериев (способы порождения и восприятия, жанровые и структурные особенности). Однако с появлением современных технических средств четкость подобного противопоставления размывается, а с появлением интернета возникает и новый тип коммуникации – промежуточный, который характеризуется и особенностями письменной речи (формально и технически), и особенностями устной (с точки зрения структуры и жанров).

Вторая часть «О смайликах и других играх с формой» посвящена формальным средствам интернет-коммуникации и различным аспектам игры с графикой (использование смайликов, игровое использование регистров, зачеркивание и т.д.). Говоря о смайлике как о важном аспекте интернет-коммуникации, М. А. Кронгауз подробно рассказывает о его возникновении, связывая между собой историю происхождения рисунка, изображающего улыбающееся лицо, и историю появления печатного знака, созданного комбинацией нескольких значков на клавиатуре, а также историю и функционирования его названия как в английском (*smiley, smiley face, emotikon*), так и в русском (*смайлик, смайл* и др.) языках. Автором прослеживается и эволюция развития текстового и графического смайликов, причем М. А. Кронгауз отмечает, что в коммуникации массово и регулярно используется только очень небольшое количество смайликов из всего их многообразия. Причинами этого являются многофункциональность и универсальность именно простых смайликов, способных выражать множество различных значений в тексте (восклицательную интонацию, положительную реакцию, согласие, радость, оптимизм, иронию, сарказм и т.д.). Исследователь также обращает внимание и на синтаксические свойства смайликов и их значения, определяемые позицией относительно начала или конца предложения. При этом до сих пор использование смайликов, по мнению автора, не подверглось кодификации, их употребление часто спонтанно и не определено какой-либо нормой.

Кроме смайликов, в интернет-коммуникации используются и другие формальные средства, которым М. А. Кронгауз посвящает отдельные главы своей книги. К наиболее часто встречающимся приемам относятся замена букв на цифры, популярная и в англоязычной коммуникации (т.н. *leetspeak*), и в Рунете; игра с переключением регистра, основанная на выборе латиницы или кириллицы и приведшая к появлению новых слов в интернет-жаргоне (*ЗЫ, лытдыбр* и т.д.). К подобным приемам относится и зачеркивание текста, при котором создатель текста сознательно демонстрирует то, что думает, но по каким-либо причинам не хочет писать, и описание поведения пишущего, при котором метатекст окружается скобками или астерисками, напоминая авторские ремарки к пьесе. По мнению автора, подобные формальные средства восполняют недостаток письменных средств для выражения различных аспектов устной речи (мимика, интонация и т.д.) в новом типе коммуникации, которая является смешанной (устно-письменной).

В третьей части «О словах и мемах» основное внимание приковано именно к «ключевым» словам Рунета, некоторые из которых даже по-

пали в нормативные словари, и так называемым «интернет-мемам», ставшими специфическими, характерными, узнаваемыми знаками общения. Подробно рассматривая функционирование различных популярных лексем в интернете, автор приходит к следующим выводам. Основной языковой тенденцией в Рунете является освоение заимствованных слов и формирование собственного стандарта (приводятся примеры формирования словообразовательных гнезд: *blog* – *блог*, *блогер*, *блогерша*, *блогосфера* и т.д.). М. А. Кронгауз наглядно демонстрирует необходимость подобных заимствований в связи с появлением новой реалии (так, *блог* отличается от просто *дневника*, а *френд* – от *друга*). Другой тенденцией можно считать замену иноязычного слова русской лексемой, позволяющей освоить и новое слово, и новую реалию (*mail* – *мыло*, *hoterage* – *хомяк* и др.). Изменения в интернет-жаргоне происходят и со многими русскими словами (*привет* – *превед*, *сейчас* – *щаз*, *как бы* – *кагбэ* и т.д.), какие-то из них являются письменной передачей устного произношения, какие-то носят игровой характер.

Много внимания автор уделяет и интернет-мемам, коротким сообщениям или изображениям, ставшим очень популярными и постоянно актуализирующимся в новых контекстах (*превед медвед*, *йа криветко* и др.). Их смысловая функция часто значительно ослаблена, а экспансия в различные контексты поддерживается абсурдностью и повторяемостью. Автор исследования выделяет четыре стадии существования интернет-мема: 1. создание; 2. распространение, происходящее на новых сайтах и в новых контекстах; 3. использование, которое уже часто происходит только по инерции; 4. угасание мема или изменение его статуса.

В третьем разделе книги также рассматриваются два, по мнению автора, противопоставленных друг другу интернет-жаргона Рунета: упячка и «мамский» язык. Для первого характерны короткие, выражающие агрессию высказывания, которым свойственно искажение графического образа слов, происходящее без какого-либо правила, но вызывающее определенные эмоции или ассоциации своим графическим образом (*галактеко опасносте*, *жывтоне* и т.д.). «Мамский» язык – это сленг, свойственный сетевому общению молодых мам и беременных женщин, для которого характерно частое использование уменьшительно-ласкательных суффиксов и детское коверкание слов (*овуляшечки*, *хочушечки*), эвфемизация и табуирование отдельных понятий, связанных с беременностью и родами. М. А. Кронгауз подчеркивает тот факт, что подобные сленги отвечают коммуникативным потребностям конкретного сообщества.

Завершая книгу, М. А. Кронгауз выделяет основные особенности интернет-коммуникации. Так, по его мнению, в данный момент происходит экспансия письменной формы языка в сферы устной, при этом возникает своеобразное противоречие, так как экспансия письменной формы приводит к усилению ее устности. В связи с этим возникают новые формальные средства, компенсирующие недостаток мимики, интонации, жестов. Другими особенностями коммуникации в сети являются игровой характер интернет-общения и огромная скорость распространения информации, при этом автор приходит к выводу, что все изменения, произошедшие в языке, определены потребностями коммуникации, которая оказалась важнее языка.

В своеобразном приложении, носящем название «ЗЫ», М. А. Кронгауз предлагает поразмышлять о двух актуальных темах, представляющих собой определенную проблему и для исследователей, и для пользователей сети: во-первых, о понятии «комментария» в интернете (*коммента, камента*), новом жанре, размывающем границы текста в пространстве и времени и выражающем идею непрерывающейся коммуникации; во-вторых, о сложности осуществления коммуникации в новых условиях из-за неопределенности границ между публичностью и интимностью. Данные сложности лишь подчеркивают тот факт, что мы действительно оказались в новых коммуникативных условиях.

Данную работу М. А. Кронгауза можно рекомендовать самому широкому кругу читателей: и лингвистам-исследователям, и неспециалистам, интересующимся вопросами коммуникации. В монографии подробно рассматриваются как конкретные процессы, происходящие в языке интернета, так и общие тенденции, характерные для современной сетевой коммуникации и современного русского языка. Одним из наиболее существенных достоинств работы, на наш взгляд, можно назвать попытку М. А. Кронгауза проанализировать языковые факты не изолированно, а в совокупности всех факторов (не только лингвистических), присущих общению в сети. В рецензируемой монографии удачно сочетаются легкий язык и прекрасное чувство юмора автора с глубоким анализом и обобщением наиболее важных и ярких процессов, происходящих в современном Рунете.

Мария Доброва

И. В. Калита: *Стилистические трансформации русских субстандартов, или книга о сленге*. Москва: Дикси Пресс, 2013. 240 с. ISBN 978-5-905490-15-6.

Современная славянская наука о социолектах пополнилась еще одной монографией, имеющей ряд примечательных особенностей. Автор данного исследования работает в Университете им. Яна Евангелисты Пуркине в чешском городе Усти-над-Лабем и известна своими публикациями по беларусистике, богемистике и русистике – прежде всего в социолингвистическом и лингвокультурном аспектах. Рецензируемая работа тоже не ограничивается заявленными в названии русскими субстандартами и содержит целый ряд интересных для читателя сопоставительных русско-чешских наблюдений над сленговой лексикой (например, краткий очерк о путях экспрессивного употребления глагола *жрать/žrát* в русском и чешском языках или анализ чешской сленговой лексики, обозначающей крупную сумму денег). Кроме того, исследовательница опирается на чешские и словацкие научные разработки, из которых одни имеют классический статус, а другие не столь известны в современной русистике. Этот фактор частично повлиял и на теоретическую базу анализа: так, в духе чешской лингвистической традиции И. В. Калита различает понятия «литературный язык» (кодифицированная, строго нормированная система) и «стандартный язык» (нестрогая форма литературного языка), проводя различие на основании «коэффициента соблюдаемых норм» (с. 21). Функционально сближая сленг с поэтической речью (так как основой обоих феноменов являются тропы), автор обращается к взглядам Я. Мукаржовского. В то же время важное место в научной концепции И. В. Калиты занимает и развитие идей западной лингвистики. Так, на основе введенного Э. Сепиром терминологического словосочетания «языковой дрейф (drift)» автор развивает понятие стилистического дрейфа, весьма плодотворное именно для исследования судьбы субстандартных единиц (и не только их) на современном этапе развития стандартного (по терминологии И. В. Калиты) языка – этапе, характеризующемся очень заметной эклектичностью речевых практик. Также работа опирается на известные исследования российских лингвистов, в частности, продолжает и развивает идею «общего сленга» – понятия, недавно введенного в науку в связи с необходимостью квалифицировать те языковые факты, которые вжились в повседневные речевые практики до такой степени, что крайне ослабили или утратили свою социальную маркированность (*крыша, классный* и т. п.).

Исследовательница предлагает собственную систему дифференциации субстандартной лексики, прежде всего выделяя в ней словарь 1 (общественная лексика) и словарь 2. В свою очередь, словарь 2 делится на профессиональную лексику (вместе с лексикой групп по интересам) и метафорические выражения – последние квалифицированы как «собственно сленговые единицы». Данный своеобразный взгляд на субстандарт имеет, на наш взгляд, и сильные, и слабые места. С одной стороны, заслуживает одобрения позиция автора – необходимость разделить профессиональные речевые феномены (профилекты) и экспрессивный по своей сути сленг, не связанный с профессией или родом занятий. С другой стороны, в книге слишком акцентируется суждение о метафоричности сленга, тогда как его природа не столь однозначна и способов пополнения фонда сленговых единиц немало, среди них заимствование (упомянутое автором, но вскользь), разнообразные языковые игры с морфемным и звуковым составом слова, компрессия (языковая экономия) и т. д. Поэтому отождествление «метафорические выражения, или собственно сленг» (с. 17 и др.) не совсем корректно. Такое же замечание относится и к приведенной в книге схеме, по которой жаргон прошлого на современном этапе переходит в профилект (профиречь): частично это утверждение соответствует истине, но не может быть спроецировано, например, на жаргон наркоманов.

Книга содержит целый ряд свежих суждений, свидетельствующих о многогранности, стереоскопичности взгляда автора на субстандарт. Это, в частности, определение основной функции сленга как «эстетической инновации речи и языка». Возможно, стоило бы уточнить инновацию как «экспрессивно-эстетическую» или же прояснить широкую семантику, которую автор вкладывает в понятие «эстетическая», но, несмотря на это, мнение И. В. Калиты задает весьма перспективную точку зрения на рассматриваемый языковой феномен. Можно согласиться и с позицией, согласно которой сленг помогает концептуальному обновлению стандартного языка, и с утверждением о функции сленга как «фильтра», отсеивающего из других субстандартов слишком грубое и пропускающего именно то, что способно обновить язык.

В рецензируемой книге импонирует также наличие квалифицированного лингвистического анализа на нескольких уровнях: построение теоретических концепций (к примеру, об упомянутом стилистическом дрейфе), анализ широких лексико-семантических полей (связанных с основными потребностями человека: деньги, голод, жажда, секс, безопасность, социализация – и их удовлетворением), наконец, на микроуровне – подробное рассмотрение ключевых слов современного русско-

го сленга, важных для описания картины мира говорящих: *мачо, блин, тусовка, бакс, френд, базар* и др.

К некоторым фрагментам анализа, представленным в монографии, возникают вопросы или замечания. Так, довольно содержательный разбор лексико-семантического поля «алкоголь» не совсем уместно смотреть в пункте о жажде как базовой потребности: алкоголь связан со сложным комплексом потребностей человека, где ведущую роль играют психические факторы. При анализе концепта *голод* рассматривается выражение *пил хавает* (с. 165) с толкованием ‘народ ест’, однако, к сожалению, не указано, что данная единица употребляется в переносном значении, когда речь идет о восприятии культурных фактов. Как нам кажется, на с. 115–121 смешиваются понятия церковно-религиозного стиля и текста на церковно-религиозную тематику, представляющего в чистом виде публицистический стиль. Что касается последнего, хотелось бы заметить особо: после прочтения книги складывается впечатление, что автор тяготеет к выходу за пределы анализа сленга. На наш взгляд, монография содержит ростки более широкого труда – говоря условно, очерков по новейшей стилистике с особым вниманием к ее проблемным точкам и стилевым контрастам. И это демонстрирует перспективность исследовательской работы И. В. Калиты. Думается, ее «Книга о сленге» войдет в круг важных источников для исследователей субстандартных и стилистически маркированных средств языка.

Роман Трифонов, Юлия Любавская

L. Vobořil: *Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladaatele (výklad a cvičení)*. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2015, 1. díl, 169 s., ISBN 978-80-244-4450-5, 2. díl, 153 s., ISBN 978-80-244-4491-8.

Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladaatele (výklad a cvičení) je název dvousvazkového učebního textu, který vyšel ve Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci v r. 2015. Jeho autor, PhDr. Ladislav Vobořil, Ph.D., je absolventem a v současné době vyučujícím katedry slavistiky Filozofické fakulty UP. Ve své učebnici, protože tak je celé dílo pojato, navazuje na odkaz svých pedagogů – významných lingvistů-rusistů profesorů Isačenka a Zimka a jejich mladších žáků, představitelů srovnávací česko-ruské jazykovědy. Jejich práce se mu staly základem pro vlastní edukační činnost, v níž po mnoho let ověřoval a dopilovával se studenty jazykový materiál, který nyní předkládá v podobě skript z ruské morfologie, z nichž 1. díl (169 s.) je věnován substantivům, adjektivům a slovesům, navazující 2. díl (153 s.) pak všem ostatním slovním druhům.

Cíl učebnice, zaměřený na dosažení jednotné gramatické kompetence u všech studentů oboru již v 1. ročníku studia na vysoké škole, včetně položení základů překladové kompetence česko-ruské a rusko české, jakož i upevnění pravopisných návyků, s nimiž studenti přicházejí ze střední školy, je nejen komplexní, ale současně i velmi náročný. Klade jak na studenta, tak i na učitele řadu požadavků. Autor vychází z přesvědčení, že k jeho dosažení je pro odborníka nezbytné osvojit si nejdříve příslušnou lingvistickou teorii a na jejím základě si pak vytvářet odpovídající dovednosti a návyky v praktickém užívání osvojovaného jevu, čemuž má sloužit bohatá škála cvičení. Teoretická a praktická část tak tvoří vyvážený celek u všech slovních druhů s mírnou převahou teoretického výkladu. Za prezentovaným výkladem lze vidět nejen autorovu vysokou odbornou erudici, lingvistickou vyzrálost, ale i schopnost podat teoretický materiál v hutné formě, vyložit daný gramatický jev do všech podrobností s neustálou konfrontací našich dvou jazyků. Platí to o obou dílech, ale zejména v 1. díle je komparaci věnována mimořádná pozornost. K teoretické části zásadní připomínky nejsou, spíše několik rad, které bude moci autor – podle svého uvážení – zohlednit při knižním vydání svého díla. Týkají se zejména důsledného přihlížení k současným vývojovým tendencím v jazyce s oporou na autory, kteří jsou cenni právě svou „praktickou stylistikou“ gramatických jevů (Gorbačevič, Kochtěv, Rozental' aj.), což by pomohlo osvětlit některé sporné otázky např. u kategorie rodu: *наши врач пришел – наши врач пришла – наша врач пришла*; u kategorie životnosti: *встретить двадцать два студента /*

двадцать двух студентов; u slovesné rekce: *ждать поезда x ждать поезд «Прага-Москва»*, u předložkových vazeb: *яма в два метра – яма два метра* aj. Na mnoha místech je autorem při výkladu materiálu uplatňován princip předjímání chyby, jenž má studentům napomoci při osvojování jejich gramatické kompetence. Bylo by vhodné vztáhnout ho i na ty jevy z rusko-české srovnávací morfologie, které jsou odborníky hodnocené jako zvláště obtížné, což bezesporu platí o slovesech pohybu. Diskutabilní zůstává zařazení bezpředložkové slovesné rekce k tématu předložky. Mělo za následek značné předimenzování cvičení. Možná by stálo za úvahu vrátit se k tradičnímu pojetí fixovat jev v rámci sloves.

Cvičení následují za každým slovním druhem a důsledně navazují na teoretický výklad.

Jejich úctyhodný počet (více než pětset) skýtá podle představ autora záruku, že bude jazykový jev upevňován v nejrůznějších frekventovaných kontextech a tím bude skutečně osvojen. V prezentaci cvičení, v jejich posloupnosti a zařazení některých vybraných prvků se autor projevuje spíše jako lingvista. Z lingvodidaktického hlediska by jistě bylo vhodné takovou přemíru cvičení nejen uspořádat do systému (podle typu cvičení), ale udělat celý systém pro uživatele více funkční a přehlednější např. číslováním vět nebo označením nacvičovaného jevu po stranách. Obrovskou kvantitou si vysvětlujeme drobná opomenutí, kdy jsou zadány k fixaci jevy nemající oporu v teoretické části (např. I/38/26 : *Народу в ресторане было много..... много, мало народу* není ve výkladu, II/12 – chybí poučení o «так» a jeho užití, ve cvičení II/21/10 se však fixuje, II/24/24 – fixuje se „целый“, není v teoretickém výkladu aj.).

Velkým pozitivem je v celé učebnici péče o terminologické vybavení studenta lingvistickými termíny v obou jazycích. V závěru II. dílu by bylo vhodné některé absentující ještě doplnit (na str. 105 an.). S ohledem na skutečnost, že si autor jako jeden z dílčích cílů vytkl i dovednost překladu, stálo by za úvahu dopracovat např. překladové možnosti dialogu ze str. 142–143, popř. zdůvodnit zvolenou stylistickou rovínu: *Ну, как же так, Иван? – Бога, как то!, – Ну, как, сдал? На сколько? – Так со, dals to?*

Napsat dobrou učebnici je velké umění, zvláště pak zaměřenou na budoucí odborníky, kdy je vytvářena teoretická báze jejich profese. Nebývá proto zpravidla dílem jednotlivce, ale spíše autorského kolektivu. Ladislav Vobořil se zhostil tohoto náročného úkolu sám a ve srovnání s obdobnými publikacemi domácí proveniencce, vycházejícími na našich vysokých školách, se s ním vyrovnal se ctí. Zaměřením na cílové kompetence studenta se nemohl vyhnout hlubšímu lingvodidaktickému pohledu na problematiku, což se odrazilo zejména v systému cvičení. Na druhé straně mu cit zkušeného učitele

nedovolil zbytečné a nesrozumitelné teoretizování, jakož i přemíru teorie na úkor praxe. Je jen málo míst, která by si žádala teoretické zjednodušení a terminologickou úpravu. Studenti tak dostávají do rukou velmi dobrou, přehlednou učebnici morfologie a bibliografické zdroje odborné rusistické veřejnosti se obohacují o kvalitní zdroj poznatků.

Eva Vysloužilová

V časopise jsou publikovány původní vědecké a odborné studie s filologickou problematikou (od r. 2008 tvoří původní stati 80 % obsahu čísla) a další materiály (recenze, zprávy, kronika) z oblasti jazykovědné a literárněvědné rusistiky a dalších slovanských filologií. Příspěvky lze publikovat ve všech slovanských jazycích a v angličtině. Příspěvky jsou opatřeny anglickým abstraktem. V r. 2008 byla ustavena redakční rada a všechny příspěvky důsledně procházejí nezávislým, anonymním recenzním řízením.

Jsou přijímány pouze příspěvky, které nebyly dosud publikovány a nejsou přijaty k publikaci v jiném časopise, v tomto smyslu se podepisuje s autorem příspěvku přijatého k publikaci licenční smlouva vypracovaná právním oddělením UP v Olomouci. Poskytnuté příspěvky musí respektovat níže uvedené formální pokyny. V případě jejich nedodržení se příspěvky vrací autorům k úpravám a doplněním.

Všechny příspěvky procházejí nezávislým, objektivním, anonymním recenzním řízením (dva nezávislí posuzovatelé, z nichž ani jeden není členem redakce či pracovníkem stejného pracoviště jako autor či spoluautor).

Příspěvky je možno zasílat během celého roku. Uzávěrka je vždy k poslednímu dni měsíce ledna a června příslušného roku.

Pokyny pro autory

Texty příspěvků zasílejte na e-mail:

jindriska.kapitanova@upol.cz (studia linguistica),

jitka.komendova@upol.cz (studia litteraria).

Soubor v elektronické podobě musí být uložen pod příjmením autora (bez diakritiky, latinkou) s koncovkou .doc nebo docx (např. novak.docx, vychodil.doc).

Struktura a úprava příspěvku

Jméno autora bez titulů v pořadí: jméno, (jméno po otci), příjmení.

Stát a město, v němž autor příspěvku působí.

Název příspěvku.

Abstrakt v angličtině v rozsahu min. 500 až 700 znaků s mezerami včetně

názvu stati v angličtině. Uvádí se za slovem Abstract.

Klíčová slova v angličtině: 10–15 slov, oddělují se pomlčkami. Uvádí se za slovy Key Words.

Text příspěvku: základní text font Times New Roman, vel. 12 pt, řádkování 1,5, zarovnání vlevo, okraje 2,5 (nahore, dole, vlevo i vpravo). Neformátovat – formátování se v převodu do sázecího editoru ruší. Entrem oddělovat pouze odstavce, odstavce neodrážet ani neoddělovat mezerami. Nestránkovat. Mezititulky neoddělovat mezerami.

Celý text a všechny další součásti se píše fontem Times New Roman, vel. 12 pt. Doporučený minimální rozsah 27 000 znaků včetně mezer (včetně jména, názvu, abstraktu, klíčových slov, vlastního textu, poznámek, seznamu použité a excerpované literatury). Klíčová slova v textu (bez uvozovek) a příklady (bez uvozovek) se uvádějí kurzívou. Pro zvýraznění používejte tučné písmo. Podtrhávání není přípustné. Citace se uvádějí uvozovkami specifickými pro každý jazyk. Odkazy na citovanou či použitou literaturu se uvádějí v hranatých závorkách s uvedením příjmení autora, roku a čísla strany: [Novák 1997: 65]. Poznámky pod čarou používejte pouze pro doplňující informace, nikoli jako odkaz na literaturu.

Příklady uvádění jednotlivých titulů (základní formy) v seznamu literatury:

Knih, monografie, učebnice:

CRYSTAL, D. (2001): *Language and the Internet*. Cambridge: Cambridge University Press.

Článek v časopise:

GREGOR, J. (2006): Verbonominální spojení MÍT + abstraktum a jejich ekvivalenty v ruštině (z hlediska lingvodidaktického). *Opera Slavica XVI*, 2006, č. 4, s. 11–26.

Příspěvek ve sborníku:

JANČÁK, P. (1989): Mluva v severozápadočeském pohraničí. In: F. Daneš – J. Bachmannová – S. Čmejrková – M. Krčmová (eds.): *Český jazyk na přelomu tisíciletí*. Praha: Academia, s. 239–249.

Elektronické zdroje:

КОЛЯДА, Н. (2010): Старосветские помещики (6. 9. 2010), kolyada.ur.ru/starosvet.

Informace o autorovi:

Jméno včetně titulů.

Stručný vědecký profil.

Adresa pracoviště.

Internetová stránka pracoviště.

E-mail autora.

Autoři odpovídají za jazykovou a gramatickou správnost textu. Příspěvky v rozporu s uvedenými pravidly, neschválené recenzním řízením či neodpovídající zásadám etiky nebudou publikovány.

Требования к оформлению статей

Общие требования

Для публикации в журнале принимаются статьи филологического, т.е. языковедческого, фразеологического, литературоведческого, переводческого содержания на всех славянских языках и английском языке, рецензии, информация о научных конференциях. Материалы публикуются бесплатно.

Принимаются только материалы, которые до сих пор не были опубликованы в другом журнале – в этом смысле с авторами статей заключается и подписывается соглашение о предоставлении редакции права опубликовать данные материалы.

Предоставленные в редакцию статьи должны отвечать указанным ниже требованиям. В случае несоответствия материалов требованиям последние возвращаются авторам для переработки.

Все статьи подвергаются независимому, объективному, анонимному рецензированию.

Материалы в редакцию можно предоставлять в течение всего года. Первый номер выходит обычно в первой половине года, второй к концу того же года.

Авторы статей, рецензий, информации о конференциях, хроник несут персональную ответственность за языковую и грамматическую точность текста. Отклоненные рецензентами тексты к публикации не допускаются.

Тексты для публикации высылать по эл. почте: jindriska.kapitanova@upol.cz (studia linguistica), jitka.komendova@upol.cz (studia litteraria).

Требования к оформлению статей, материалов

Файл должен быть назван по фамилии автора только латинскими буквами с расширением doc. или docx. (например, *novak.doc* или *novak.docx*).

Структура статьи

Имя, (отчество) и фамилия автора

Название страны и города

Название статьи на языке статьи

Резюме на английском языке, включая переведенное на английский язык название статьи. Резюме приводится после слова Abstract. Объем резюме ок. 500–700 знаков.

Ключевые слова (10–15 слов под рубрикой Key Words).

Основной текст статьи печатается 12 кеглем в Times New Roman, межстрочный интервал 1,5. Все поля – 2,5 мм. Абзац обозначать только с помощью клавиши Enter, переносов не делать, страницы не нумеровать.

Редактор: Word for Windows.

Рекомендуемый минимальный объем текста 27 000 знаков (включая интервалы, текст, резюме и список использованной литературы).

Ключевые слова и слова-примеры, предложения-примеры выделять курсивом, в случае необходимости – жирным.

Цитаты выделять кавычками, не используя курсив (образец: «Цитата», „Citace“, “Citation”).

Ссылки в тексте оформляются квадратными скобками, где приводится фамилия автора, год издания и страница по образцу: [Бархударов 1975: 190–213].

Сноски просьба использовать только для примечаний, ссылки на использованную литературу оформлять так, как указано выше.

Подчеркивания не допускаются.

Список использованной литературы приводится в конце статьи под рубрикой *Использованная литература*.

Книга:

CRYSTAL, D. (2001): *Language and the Internet*. Cambridge: Cambridge University Press.

Статья в журнале:

GREGOR, J. (2006): Verbonominální spojení MÍT + abstraktum a jejich ekvivalenty v ruštině (z hlediska lingvodidaktického). *Opera Slavica* XVI, 2006, č. 4, s. 11–26.

Статья в сборнике:

JANČÁK, P. (1989): Mluva v severozápadočeském pohraničí. In: F. Daneš – J. Bachmannová – S. Čmejrková – M. Krčmová (eds.): *Český jazyk na přelomu tisíciletí*. Praha: Academia, s. 239–249.

Электронные источники:

КОЛЯДА, Н. (2010): Старосветские помещики (6. 9. 2010), kolyada.ur.ru/starosvet.

Профиль автора:

Ф.И.О., включая ученую степень, звание

Краткое представление научных интересов автора

Полный адрес университета (места работы)

Веб-сайт организации

Электронная почта автора

ISSN 0139-9268 (print)
ISSN 1804-1434 (online)